

Что такое политическая философия

Александр Пятигорский

Цикл лекций известного философа, профессора Лондонского университета, посвященный осмыслению ситуации человека во власти. Острая интеллектуальная провокация, цель которой – воспитание политического мышления и политической культуры.

ПОЛИТУЧЕБА



К чему приводит общее снижение уровня политической рефлексии?

Например, к появлению новых бессмысленных слов: «урегулирование политического кризиса» (ведь кризис никак нельзя урегулировать), «страны третьего мира», «противостояние Востока и Запада». И эти слова мистифицируют политическое мышление,

засоряют поры нашего восприятия реальности. Именно поэтому, в конечном счете, власть может нам лгать.

Работу с мифами политического мышления автор строит на изобилии казусов и сюжетов. В книге вы найдете меткие замечания о работе экспертов, о политической воле, о множестве исторических персонажей.

АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ И СООБРАЖЕНИЯ.
ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	4
Лекция 1	
Философия и политическая философия.....	6
Лекция 2	
Вопросы, проблемы и основные понятия политической философии.....	26
Лекция 3	
Абсолютная политическая власть и возможные замещающие понятия. Кризис европейского политического мышления в середине XX века.....	52
Лекция 4 и 5	
Абсолютное государство и его проблематизация в свете перспектив «глобализации».....	73
Лекция 6	
Абсолютная революция. Проблематизация абсолютной революции как результат смены фаз в мировой политической активности.....	118
Приложение	
План непрочитанной лекции на тему «Абсолютная война. Замещающие понятия и альтернативы. Терроризм».....	144

ПРЕДИСЛОВИЕ ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВА

Политика, политическая деятельность являются прежде всего объектами мышления, философской мысли. Так повелось со времен Аристотеля и Платона – с тех пор они как объект осмысления постоянно находятся в поле зрения философов и рефлекслирующих политиков. Пожалуй, с середины XIX века философский интерес к политическому мышлению стал угасать, оказался вытесненным вульгарной политической активностью и распространением экономизма. В то же самое время посмотрите вокруг – количество политических мемуаров достигло небывалой величины, что говорит о прорывающейся на поверхность рефлексии политических деятелей, связанных метафизической ответственностью, но, с другой стороны, продолжается погружение политики в экономику, а вместе с ней и вульгаризация самой политической деятельности.

Однако пришло время восстановить метафизическую справедливость и вернуть политическое мышление в лоно философии. В чем же сложность такого шага? В одной простой причине: не все рефлекслирующие и философствующие могут выделить объект политического мышления. Полагаю, что у читателей нет серьезных сомнений в том, что политическая деятельность напрямую связана с мышлением, которое А.М. Пятигорский в текстах лекций именуется политической рефлексией, поскольку если такие сомнения есть, то чтение текстов лекций – пустая трата времени. Философа Пятигорского интересует, увлекает только проблематизация политического мышления. Пятигорский не делится наблюдениями за политической жизнью, которые составляют критическую основу для всех политических дискуссий как в России, так и вне ее. Это удел консультантов и экспертов, тех, кто мечтает быть включенным на любых ролях в политический процесс или в то, что они им называют. Он

устремляет силу своего мышления и темперамента в пространство субъективности политического деятеля, сутью которой является мышление.

А.М. Пятигорский определил цель спецкурса как воспитание политического мышления слушателей, от которых требуется, во-первых, живой интерес к политике, а во-вторых, хотя бы чрезвычайно суженный минимум знаний и области политической теории и политической истории. Политика и лекциях фигурирует одновременно как область знания и область практического применения этого знания на всех возможных уровнях социальной, экономической и культурной деятельности слушателей как потенциальных деятелей и мыслителей. Таким образом, педагогическая задача курса – это прежде всего повышение уровня политической культуры.

В основу содержания лекций положена работа с ключевыми понятиями, определившими уходящую политическую эпоху, а именно: «абсолютное государство», «абсолютная революция» и «абсолютная власть».

Теперь, по прошествии некоторого времени, можно сказать, что реакция слушателей и обсуждение лекций на сайте «Русского журнала» продемонстрировали всю сложность преодоления устоявшихся стереотипов. Во-первых, в воздухе постоянно висел вопрос: «А какое все это имеет отношение к политике?». Действительно, где же за последние десятилетия можно было философствовать о политике, а тем более участвовать в сколько-нибудь последовательной дискуссии на эту тему? Во-вторых – переполненность политического пространства иллюзиями как артефактами несостоявшегося политического мышления. Возможно, для кого-то прочитанные и проработанные лекции станут первым шагом к избавлению от иллюзий, шагом к освоению политического мышления.

ФИЛОСОФИЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ

8 февраля 2006 года,
РГГУ Есенинская аудитория

ПЛАН ЛЕКЦИИ

(0) Философия и философствование. Политика как специфический предмет нескольких научных и квазинаучных дисциплин (например, политологии). Политика как неспецифический предмет философии (у философии нет своего предмета) и случайный возможный объект философствования. Неподготовленность (точнее, «неприготовленность») политики в качестве объекта философствования. Философствованию приходится сначала «сверху» сконструировать (не реконструировать) политику как свой объект посредством редукции бытовых, идеологических и мифологических понятий нынешнего политического мышления и терминов современного политического языка. Необходимость введения иных онтологических определений и особых методологических позиций.

(1) Политическая рефлексия – особый и единственный объект в политической философии, к которому редуцируются и в смысле которого истолковываются все политические феномены (такие как политическое действие, политическая деятельность, язык политики, политик и т. д.). Политика как политическая рефлексия. Политик как субъект политической рефлексии.

(2) Субъективность политической рефлексии.

(3) Фрагментированность субъекта политической рефлексии. Индивидуальная воля – основной фактор фрагментированности субъекта политической рефлексии. Субъект политической рефлексии индивидуален не в своем противопоставлении коллективу, группе или массе, а только в качестве носителя фрагмента (версии, флуктуации) политической рефлексии.

(4) Соотношение понятий субъективного и психологического в политической философии.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1

Предмет философии – политическая рефлексия – субъект политической рефлексии – «надо это устроить» или «все дело в деньгах» – экономическое думание о политике – субъективные мотивационные элементы в политике – антиисторизм и политическая память.

Вопросы.

ЧАСТЬ 2

Фрагментированность и неопределенность субъекта политической рефлексии – воля – класс дисциплинированного мышления.

ЧАСТЬ 1

Дамы и господа! Во-первых, я вас очень прошу согласиться с моими тремя условиями, выполнить мои три просьбы. Первое: прошу вас ничего не записывать. Второе: прошу вас по возможности из того, что я говорю, ничего не запоминать! Просто думайте, и этого будет более чем достаточно: это самое трудное – думать. И третье условие: прошу вас немедленно меня прерывать и спрашивать, если вам что-то непонятно по теме лекции или непонятны какие-то употребляемые в ней слова и термины. Поднимайте руку и прерывайте! Копить вопросы к концу лекции – так это я забуду, о чем я говорил, и вы забудете, о чем хотели спросить, гораздо эффективнее более динамический режим лекции. Не помню, чтобы в моей жизни был случай, когда времени было достаточно.

Что такое политическая философия с моей точки зрения (а у меня нет никакой другой, так что не обессудьте)? Дело в том, что философия, как я ее понимаю, не имеет и не может иметь своего конкретного специфического предмета, или это будет не философия, а наука. Философия в принципе – и это блестяще понимал Лейбниц (хотя это прекрасно понимал и Спиноза) – занимается не предметом, каков бы он ни был, а мышлением о предмете. Философия постигает свой конкретный предмет, любое конкретное содержание только через мышление о нем, собственное мышление философа прежде всего. Философ – это философствующий сначала над своим собственным мышлением и только потом – над тем, о чем он мыслит, и над другими мышлениями.

ВОПРОС: А не может быть мышление о предмете предметом философии?

Это и есть единственный предмет философии! Другого у нее нет. В принципе, что бы ни осмыслялось, философия включается в эту игру только со стороны осмысления этого «чего-то», а не со стороны «чего-то», поэтому философ – позвольте, я иногда буду переходить от слова «философия» к слову «философ» – может философствовать о чем угодно в принципе. Поэтому я и говорю, как привык говорить на любой лекции по философии: философия не имеет своего конкретного специфического предмета и может мыслить через мышление о любом предмете. Отсюда произвольность содержательного поля философии. Отсюда же и случайность

чьей-либо нужды в философии или – простите мне этот омерзительный вульгаризм – «востребованности» философии или философа. Запомните это до конца своих дней: философ никому не может быть нужен.

В данном случае, когда я говорю, что буду говорить о политической философии, что явится предметом философии? Не политика, а мышление о политике. Другой политики нет, кроме политического мышления – твоего, моего, их, талантов, бездарностей, умных, дураков, кого угодно, но – мышления. Политики как отчлененного, систематологически выделенного предмета типа молекулярной физики или кристаллографии не существует. И это, между прочим, прекрасно понимал один из первых философствующих о политике – ну, скажем так, второй – Аристотель. То есть политику вы не вынете из кармана и не положите на стол. Политика – это пустая абстракция без уже организовавшего политическое мышление минимального сознательного подхода.

Я не любитель ссылок и сносок, как в своих книгах и статьях, так и в жизни. Ведь мы уже, слава богу, выходим из периода безумия по поводу приоритета: «это я сказал первым». Разве есть большая честь для думающего, чтобы его цитировали и ссылались – значит, он уже живет в других мышлениях. Поэтому то, что я цитирую, я цитирую как уже мною осмысленное, отрефлексированное.

Перехожу к следующему шагу своего предварительного рассуждения. Значит, говоря о политике, я буду говорить о «мышлении о политике», – которое условно будем называть политической рефлексией (термин не хуже и не лучше другого), из которой только мы и узнаём о политике. Как говорится в одной чудной американской пьесе, где даму спрашивают:

– А, кстати, чем занимается твой муж?

– Как чем, политикой!

– А-а, значит, он один из тех же жуликов и бездельников в upstate New York.

Она говорит:

– Ну, он думает, что он занимается политикой.

Значит, она произнесла это слово «политика»! И, видимо, он – этот, разумеется, обманутый муж, как все мужья в пьесах и нередко в жизни, – он произнес это слово?

Так мы делаем второй шаг: политика – то, что человек в своей речи и мышлении называет политикой. И не будем его за это критиковать.

Вы можете тут же сказать: какая же это политика, то, чем занимается ее муж? Жульничество! Лучше бы скот продавал в штате Мичиган. Вот тут я должен быть жестким – это уже не наше дело. Запомните, мы употребляем слова, которые не мы выдумали, они исторически существуют. Они могут быть полной чушью, полной ерундой, но слово уже, как говорил Людвиг Витгенштейн, закреплено в практике естественного языка. А если это не нравится, он говорил, тогда, пожалуйста, давайте пишите другой словарь, а пока вам приходится заглядывать в существующие словари. У Витгенштейна были страшные семинары, он так наставлял студентов: «Не понимаешь слова? Вон словарь стоит. Открой, найди слово». Студент возражал: «Так я же хочу разобраться по сути». И тут покойный Витгенштейн начинал орать: «Суть – это вранье, выдуманное шарлатанами, есть слово – используй его, говори, неправильное – исправь, не знаешь – опять посмотри в словарь». Поэтому я не буду заниматься анализом самого понятия «политика», я буду заниматься только одним вопросом: что происходит в мышлении о том, что называется «политикой», или, как мы условно называем, в политической рефлексии. А без этой рефлексии политики и не существует.

Строго говоря, то, что мы называем политикой – это и есть политическая рефлексия, в которой мы оперируем разными понятиями, разными терминами. И все, что мы называем политической жизнью, политическими событиями, политическими актами – это то, что уже нашло свое место в политической рефлексии. Опять оговорка: как говорил мой давно покойный и любимый Василий Васильевич Розанов: «Господа, это пока все, пока положим, что будет так. А так это или не так – закончим семинар, – говорил он, – будем разбираться, а пока положим». И поэтому я начинаю с политической рефлексии.

Первое: о каком человеке, о каких людях мы говорим? Мы говорим о субъекте политической рефлексии. Субъект политики в этом смысле – это субъект политической рефлексии, о которой мы уже нечто знаем, мы уже выстроили какую-то предварительную, пусть самую элементарную и примерную, сетку. Ставим в верхнем левом углу в квадратик – «субъект политической рефлексии». И вот с ним нам будет

разобраться очень нелегко. Допустим, это я – субъект политической рефлексии, я думаю о данной вещи. Вы мне, допустим, говорите:

– Очень плохо с транспортом в Москве с трех до шести часов. Я могу на это ответить, как мне отвечал один полисмен в

Лондоне после того, как мы простояли в пробке два с половиной часа:

– Ну что делать, это – политика.

А я уже тогда начинал заниматься политическим мышлением, я говорю:

– Почему, сэр? Почему это политика? Просто надо это устроить.

Я произнес три слова: «Надо это устроить» – из них два, кроме «это», относятся к политике. Первое – это «надо», а второе – «устроить». Ведь простой человек думает всегда так: «Надо на это дело – какое бы оно ни было – подкинуть денег и поставить умного человека». Так это же чистая политика! Тут начинается какая-то тайна: казалось бы, деньги – какое отношение они имеют к политике? Ну, кто-то даст денег. Но кто-то должен захотеть дать денег, а кто-то должен ему сказать: «Дай денег». И где тогда останутся наши бедные деньги? И по-прежнему люди недумаящие будут повторять эту кретинскую фразу – «все дело в деньгах». Это же чушь! Неужели вы не понимаете, что это полная чушь, более того и хуже – это вульгарная чушь. «Все дело в деньгах», только если ты сам с собой об этом договорился и не хочешь сделать еще один мыслительный шаг: все дело в тех, пусть элементарных, а иногда и крайне сложных, отношениях людей, которые, начиная с Сократа, в описании Ксенофонта, чисто политические.

На следующей лекции мы перейдем к первому термину политической философии – «политической власти». Но пока – кто-то должен захотеть дать деньги. А что делать, если он не захочет? Так, у него есть деньги, и тут же какой-то идиот говорит, что «это – экономика». Второй скажет, что все дело в желании или нежелании дать деньги, «а, да это психология». Где же здесь политика?

Мы, увы, всегда думаем, что это у нас всегда плохо, а где-то, наверное, всегда было и будет гораздо лучше. Чушь! Есть только одно место, где плохо – дефективное мышление людей – их упорное нежелание мыслить, – вот где плохо.

Перенесемся в 1933 год. В Соединенные Штаты, о которых замечательный немецкий экономист Штраус говорил, что они были «накануне революции». Это

было преувеличение, но все же там было действительно плохо. Процент безработных – за критической чертой, сотысячные очереди за горячим супом в Детройте, Чикаго и Нью-Йорке, дети, у которых нет ни молока, ни сахара. И еще не пришедший в себя после первых административных, как в России любят это вульгарно называть, «проколов» президент Франклин Делано Рузвельт. Он устраивает совещание в верхах (что, опять же, может быть более вульгарным, чем слова «совещание в верхах»?). Сидят он и его старый друг Харри Хопкинс и полтора десятка людей, в кармане у которых ну если и не три четверти, то две трети американских денег – всех денег, которые вообще есть в Америке. Все говорят: «Положение катастрофическое». Все, как всегда, ноют, разводят руками, и один из них, обращаясь к Рузвельту, говорит:

– Франк, что нам делать?

И Рузвельт говорит:

– Нужны деньги.

– Кто даст деньги?

И Рузвельт говорит:

– Вы дадите деньги!

Это экономика или политика? И вот тогда джентльмен, глава одной из двух самых могущественных мафий Калифорнии, говорит:

– А если не дадим? А Рузвельт ему:

– Послушай, Джимми, что я могу с тобой сделать: у меня на тебя давно лежит дело, я могу прислать к тебе шерифа, прокурора, полицию, ты можешь получить пять лет, шесть лет, десять лет. Но, дорогой мой, пойми, если будет революция, тебя убьют в первый день.

– Так тебя тоже! – кричит ему глава мафии.

Рузвельт говорит:

– Да! Тогда, по-моему, в этом нет никакого смысла.

Гораздо приятнее быть арестованным вежливым полисменом, чем быть затоптанным матросней с «Авроры» на Невском проспекте, хотя я думаю, и то и другое не очень приятно.

И вот тогда поднимается один человек и говорит: «Мистер президент, эти люди никогда не смогут изменить свою психологию». «При чем тут психология? – говорит Рузвельт, – это чистая политика». Ведь революция – это политика. Медь убийство всех толстосумов и богачей в Детройте, Денвере, Чикаго – это имеет какое-нибудь отношение «по содержанию», как любил говорить мой покойный друг Георгий Петрович Щедровицкий, к экономике? Нет! Залп с «Авроры» – которого, не хочу вас огорчать, по-видимому, не было – не имел никакого отношения к экономике. Это была чистая политика. И любые экономические обстоятельства апроприировались в политическом мышлении как политические. И все это сводилось к тому, что Рузвельт думал об экономике политически, а не как «Интернационал всех дураков в мире» думал о политике экономически. И вы знаете что – они дали деньги, огромные деньги. И вы знаете когда – через два дня! Все было – и объятия, и рукопожатия. И начались общественные работы, через четыре месяца количество безработных уменьшилось на 2 миллиона. Можете себе представить – в результате одного разговора. Какой был разговор? Политический. Но уменьшилось ли количество идиотов? Наверяд ли.

Когда я ругаю кого-то – я говорю только о его мышлении.

ВОПРОС: Получается, что все экономические процессы объясняются только политически?

Ни в коем случае. Оказывается, что любой экономический процесс в контексте политической рефлексии будет в данной ситуации осмысляться как политический. Обязательно ли? И вот на это ответ очень простой. А ведь так уже случилось. Уже недовольны люди. Они уже недовольны? Им мало платят, им нисколько не платят и все прочее? Так в момент негативной рефлексии меняется тема. Это уже не экономика. И когда человек говорит «я не хочу» – это политика. Это реализация его индивидуальной воли, уже прошедшей пусть через самый элементарно выстроенный кристалл политического мышления.

ВОПРОС: Получается, что политика – это всегда насилие? Это действительно насилие? Символическое или прямое физическое насилие?

Отвечаю. Ни в коем случае. Это всегда думание, которое иногда заканчивается насилием, в акте насилия. Или, давайте будем говорить сильнее, в акте уничтожения думающего или того, о ком он думает. Я думаю, это будет правильнее, чем насилие.

ВОПРОС: А не может быть наоборот? Что все-таки речь идет об экономике, которая как-то объясняется политическими причинами?

Понимаете, это ведь наш с вами выбор – думать о разных вещах, о заторе на Тверской сегодня – чисто экономически или политически. Я бы не думал ни экономически, ни политически (это полисмену, который подошел, хотелось поговорить; все – таки мука такая: сотни полицейских пытались растащить автобусы в Лондоне). Это уже – как у нас пойдет дело. Это уже зависит от данной наличной ситуации, которую наша рефлексия будет экстренно апроприировать как политическую. То есть кто-то скажет: «На что смотрит этот идиот, мэр Лондона?» – он действительно идиот. «На что смотрит этот премьер, который привел этого идиота в раздражение?» – они враги, премьер и мэр Лондона. А это уже разговор, к экономике не имеющий никакого отношения. Кто на что смотрит, раздражение, враг, друг – имеет это отношение к экономике? Никакого. Это низовая терминология политической рефлексии.

Второй и последний пример. То же время, что и рузвельтовское, – очень плохое время, С докладом к королю Георгу приходит лорд Халифакс. Букингемский дворец. Огромное окно. Стоит король в халате, подзывает к себе премьера и говорит: «Подойдите к окну, что вы видите?». За окном очереди безработных и бездомных, их количество действительно доходило в Лондоне до миллиона человек. Печки, суп, хлеб раздают, сахар детям. Можете себе представить? В Лондоне! Роскошные парки, все это великолепие. Король смотрит и говорит:

– Посмотрите, что вы там видите?

Лорд Халифакс пожимает плечами и говорит:

– Как всегда – очередь безработных за супом и хлебом.

Тогда Георг ему говорит:

– А вот теперь слушайте: если я буду это видеть еще один месяц, я вступаю в коммунистическую партию, идите вы все к черту, а я – ленинец.

Это король говорит. Вы можете себе представить любого русского царя, даже самого лучшего, который бы так сказал своему премьеру (опять вопрос политический)? И Халифакс говорит:

– Послушайте, но это же непростительное преувеличение, это истерика, ваше величество.

Тот говорит:

– Это не истерика, но просто в отличие от вас я люблю свою страну и люблю свой народ – и пропади все пропадом.

Хороша беседа, а? И вот эта последняя фраза – с моей точки зрения – абсолютно политическая. Имеет это отношение к экономике, к бирже, к катастрофическому положению Великобритании еще до начавшегося развала Британской колониальной империи? Нет. И оказывается, что в определенных ситуациях мотивационные, эмоциональные и другие субъективные элементы начинают играть роль, превышающую роль всех других элементов, моментов и факторов. Не правда ли? А, так сказать, идиоты всех стран говорят: «Да нет, давайте посмотрим курс акций на Нью-Йоркской бирже в этот день, давайте посмотрим Амстердам, посмотрим Гамбург, как там показатели Доу-Джонса», – не понимая, что могла возникнуть ситуация, когда бы уже эти биржи горели синим пламенем, да?

ВОПРОС: А когда 7 ноября 1941 года Сталин выступил с трибуны Мавзолея перед войсками, уходящими на фронт, – это из той же обоймы?

Разумеется. Это был абсолютно необходимый политический акт, вытекающий из абсолютно четкой чисто политической рефлексии, при том что он был человеком, крайне мало говорящим (об этом свидетельствовал Поскребышев). Это отжатая политическая рефлексия, как я говорю. Вот почему я начал с такого, я бы сказал, несколько эмоционального введения.

ВОПРОС: Мой пример из современности, российской действительности. Когда у нас была ситуация с компанией «ЮКОС», было заявление руководства

страны, что с руководством компании все будет в порядке, в результате акции «ЮКОСа» взмыли и инвесторы на этом заработали. После этого компания практически разрушилась, руководство посадили – была ли это политика?

Я должен сказать: то, что сейчас происходит в России, мне чрезвычайно мало известно, поскольку сейчас в связи с моими занятиями политической философией мое основное внимание устремлено на Рим I века до нашей эры и I века нашей эры. Гораздо интереснее. Вы сами знаете, это – политика. Я хочу обратить ваше внимание на один момент: Рим, начиная с гражданской войны и с разгрома Цезарем Помпея Великого и кончая смертью последнего Юлия Клавдия, то есть императора Нерона, – это уже не анекдот, это уже наука. Про короля Георга и Рузвельта – это анекдот. Почему? Потому что это систематически не отрефлексовано. Поэтому это фигурирует в области анекдота. В чем отличие российской ситуации от римской ситуации, которую описывает великий историк древности Тацит (действительно великий историк был)? В том, что римский политический кошмар, который продолжался, грубо говоря, лет 70, был не только осознан как политический, но и описан. Это очень важно. Описан по крайней мере четырьмя историками. Это факт феноменальной важности. Дамы и господа, можете ли вы сейчас взять в руки маленькую книжку, в 300 страниц, или большую, в 3 тысячи (я об этом однажды Афанасьева спрашивал), «История России с 1917 по 1990 год»? Есть такая книжка? Нет. До сих пор в России нет политической истории России XX века, истории и смысле Тацита, истории в смысле Ключевского, и причины этого чисто политические. В каком смысле? В том смысле, что политическая рефлексия среднего русского интеллигента еще не прошла через стадию той концентрации, отжатости, в которой бы он мог взять и написать такую книжку. Он еще не видит этой политической истории. Или, вы можете сказать, – не хочет.

Давайте и в жизни и в науке гораздо чаще употреблять два выражения: «хочет» и «не хочет». Вместо того чтобы на десятке страниц говорить: «Тут сложилась чрезвычайно сложная ситуация, основными факторами которой...» – и прочий бред.

А вот, простите меня опять за параллели, за последние только десять лет – и никакой до этого не было перестройки или гласности – в Англии вышло шесть книг «Политическая история Англии» или «От Черчилля до Суэцкого кризиса». Это

жалкие какие-то 20 лет, 16 лет – и уже шесть книг. Почему? Интересуются. На это устремляется их интеллектуальная энергия. Когда я сказал одному очень почтенному профессору Московского университета: «Пошлите к черту все проблемы (он зав. кафедрой), сядьте за стол и пишите историю вашей страны, в которой вы живете», – он мне на это ответил: «Ну, знаете, это все слишком общо и расплывчато». Вы скажете – это болезнь. Нет – это отсутствие воли, направленной на кристаллизацию политической рефлексии. Она сама не кристаллизуется. И он тут же опять: «Ну, вы понимаете, при Сталине это было невозможно, после Сталина это было трудно». На что я вынужден был ему ответить – я, к сожалению, очень грубый человек: «Это было невозможно, потому что то, что сейчас еще живет в вас, в вашей рефлексии, в конечном счете сделало Сталина возможным. Отсутствие волевого интеллектуального начала не дает сейчас возможности написать книгу о вашей, о русской истории». Это огромное усилие – захотеть написать историю. Так или иначе, истории нет.

ВОПРОС: А может быть, просто нужно побольше времени для того, чтобы наступила эта стадия отжатости?

Уверяю вас, время есть у всех, даже у меня. Господь нам дал время.

ВОПРОС: Есть мнение, что сейчас, например, нельзя писать про 90-е.

Если вам уже пришла в голову идея писать про 90-е – значит, все это у вас уже в голове. «Нельзя» – значит не так называемое существующее, объективное время, а в собственный мотивационно-волевой комплекс. Садитесь и пишите. Тацит жил в «сталинское» время Рима – «арестовали еще трех членов моей семьи, скоро придет очередь за мной» – и писал историю, боясь, что она уйдет. Уйдет из его памяти и из памяти современников. Боятесь ли вы, что какая-то история уйдет? Я думаю, что для каких-то людей это должно быть самым страшным страхом. Да что же, все это уйдет? Все это уйдет в никуда? Тацит, когда он писал историю, занимал крупнейшие государственные посты. Он был – ничего себе! – проконсулом Малой Азии, проконсулом в шести странах. Он был человеком, обладающим огромным политическим влиянием. И он сидел и писал. В нем был внутренний импульс писать

историю, потому что без истории человека не существует. И когда говорят, что история никого ничему не учит – это правда только для тех, кто и без истории ничему не выучится, но неправда в смысле Тацита. У него есть совершенно замечательное определение, вот тут я абсолютно точен: «Что такое настоящий римлянин? Культурный римлянин, который видит свое время, непрерывно сохраняя его в памяти для сына, и который знает от своего отца время отца, который знает еще время деда». Что поделаешь, для меня говорить о Таците – это удовольствие.

Кто сказал, что я должен получать от чтения лекций удовольствие? Я должен учить студентов, а не получать удовольствие и ждать выхода в свет своей следующей статьи или книги. Это надо, кстати, знать многим преподавателям.

Расскажу про мой страшный опыт в университете в штате Айова, очаровательный штат. Я читал ребятам курс лекций «Введение в буддийскую философию» (это основная моя профессия). Они слушали, я смотрел на их лица, честно говоря, не получая при этом особого удовольствия. И я говорю: «Я хочу сделать маленькое введение по индийской истории с VIII по IV век до нашей эры и прошу – поднимите руки те из вас (их было около 30 человек), которые могут сказать имя, фамилию и занятие вашего прадеда – все равно, по мужской или женской линии». Две руки поднялись. Вы можете себе представить? Тогда я сказал: «А вашего деда?» Поднялось, скажем, четыре руки. Где их семейное прошлое? Студенты деисторизированны, вы понимаете? Хотя, конечно, если честно, с помощью ваших же кретинов-родителей. Тут я уже не могу удержаться, все-таки я начал свою сомнительную карьеру с преподавания истории в советской средней школе, и я знаю, что, ругая правительство, отделы народного образования, не надо забывать о дефективных родителях. И не Сталин их деисторизировал. Не надо все сваливать на Сталина. На, господи помилуй, Ельцина, Горбачева, Путина, наконец, у которых мысли такой не было вообще. Потому что у них вообще мыслей, видимо, не было такого типа. Это – родители и вы сами.

И, наконец, последнее. Это было год назад в городе Москве. Я на горе себе пригласил на конференции прочесть доклад одного моего американского друга, «американского» – условно, в таком же смысле, в каком я могу себя назвать английским – он чистый немец. И этот мой друг вместо доклада по теме:

«Существует ли история без исторической направленности мышления людей» (которые ее читают, которые ее слышат, которые ее видят) вышел и стал рассказывать, как учили истории в средней школе с 1936 года – ничего себе! – в Дюссельдорфе, потом в университете до 1956 года разные школьные и университетские учителя. В 1936-м, в фашистский период, история выбивалась из всех голов, но он прекрасно запомнил каждое слово преподавателя, потому что оно свидетельствовало о его времени! Вы скажете; «Это была чистая политика». Но это и замечательно, что здесь, как я это называю, «деполитизация» населения как бы дала своим вторичным эффектом деисторизацию мышления рядового гражданина страны. И вот это очень интересный и важный момент, которым я и кончу это введение. Феноменологически элементарно здесь происходит редукция рефлексии только к одному измерению рефлексии – к памяти. И это отношение к памяти – один из очень четких индикаторов общей ориентации политической рефлексии.

Я вспоминаю один разговор с моей старшей дочерью, она, увидев, как я лежу в кресле и читаю, сверяя с латинским текстом, «Германию» Тацита, говорит: «Слушай, зачем тебе нужен весь этот хлам?». А ведь это жутко интересный момент, заметьте. Вот вы скажете – я пристрастен, но мне говорит опять традиционная установка классического русского интеллигента. А она что – дочь крановщика? Она, пардон, моя дочь. Я – с вашего любезного разрешения – противно говорить это слово – профессор. Мой отец был профессором. А дало это эффект на моей дочери старшей? Какой это эффект? Не нулевой, а негативный эффект.

Значит – антиисторизм. Антиисторизм – это явление чисто политическое, он не отрефлектирован. Если бы он был отрефлектирован, она бы ко мне не обратилась с такой идиотской репликой! Я же понимаю, почему это так.

Политическая рефлексия имеет своей составляющей, разумеется, какой-то минимум исторической памяти. Но и сейчас ставшее нормой беспамятство во многом определяет политическую рефлексия.

ЧАСТЬ 2

Теперь я хочу перейти к одному вопросу: кто субъект политической рефлексии? Он же субъект политики! Но, что самое интересное, говорить о субъекте политической рефлексии как о каком-то определенном существе или типе человека невозможно. Это может быть один человек, это может быть, цитирую Ленина, «класс», это может быть класс в средней школе, это может быть курс университета, это может быть кабинет министров, это может быть полк или дивизия, это может быть Генеральный штаб или драматический театр, это может быть семья, это может быть страна, мир, наконец. Хорошо, не поверили? Правильно, что не поверили. Но давайте хоть попытаемся осознать несоразмерную нашему мышлению трудность сведения всем известных политических событий к политической рефлексии, уже приписанной какому угодно неиндивидуальному субъекту. И все же я упрямо утверждаю: существовал определенный уровень политической рефлексии в наиболее культурной части человечества, уровень, манифестировавшийся в Первой мировой войне и сделавший возможными русскую и германскую революции. Теперь давайте договоримся, «субъект политической рефлексии» не может быть определен ни по содержанию, ни по объему этого понятия. Потому что как источник политической рефлексии он всегда оказывается фрагментированным – это интереснейшая вещь, – а иногда редуцированным к одной точке. В особенности в бытовом языке. Например – «все знают, что...». Кто это «все»? «Всех» не существует, нет такого субъекта знания, как «все», вы все-таки как люди думающие понимаете, что это метафора бытового языка. Когда кто-то вам говорит, что «все знают, что», он на самом деле говорит – «ну, разумеется, никто ничего не знает» Вот эта неопределенность субъекта знания, субъекта мышления в политике связана с фрагментарностью.

Тут начинается первая методологическая трудность: нет и не может быть той методологии какого бы то ни было действия – политического, экономического, культурного, – которая бы исходила из определенности субъекта этого действия. Субъект всегда оказывается гораздо менее определенным, чем объект этого действия. Именно из-за такой его принципиальной фрагментации.

– Кто так думает?

– Мы так думаем.

– Кто мы?

– Я и мама так думаем, я и мой научный руководитель так думаем.

И это очень интересно, потому что незрелость нашей политической рефлексии прежде всего выражается в нашей тенденции постоянно определять субъекта политической рефлексии. «Вся страна знает», «вся страна как один поднялась против того-то и того-то». Мы не понимаем, что это маскировка нашего невежества в 99 случаях из 100. И это очень важный момент. Поэтому, говоря о субъекте политической рефлексии, я подчеркиваю его неопределенность, причем в некоторых ситуациях эта неопределенность достигает степеней уже почти мистических. Один из вождей одной из великих революций мира в разговоре с журналистом сказал (я считаю, что он просто помог мне рассуждать о субъекте политической рефлексии): «Говорят, что я придумал нашу революцию. Нет, это не я». И потом закончил фразой, которая просто привела меня в восторг: «Это дух, живущий во мне». Вы можете себе представить? Политик, революционер, а? Дошел до такого, я бы сказал, фихтеанского идеализма. И закончил так: «Перед духом я ничто». А вы знаете, кто это сказал? Ну кто это сказал, ну угадайте, ну все-таки! Мао Цзэдун. Возможно, он это сказал за два часа перед тем, как отдал приказ об убийстве Линь Бяо и уничтожении штаба авиации. И вот я вам говорю – мы ему обязаны верить. Ведь в отличие от Сталина он был человеком откровенным.

РЕПЛИКА: И остроумным.

Иногда и остроумным, и любил поговорить. А Сталин – нет, не любил, поговорить. Но вы понимаете, он сам про себя сказал: этого субъекта политической рефлексии как субъекта, который называется Мао Цзэдун – великий вождь, великий учитель, отец, – не существует. Это дух. Такой, стало быть, разговор был.

Поговорить, поговорить, поговорить. Потому что никакой философии не существует без разговора. Как недавно сказал, по-моему, единственный реальный современный американский философ – Брендон (когда его спросили, чего вы больше всего боитесь в вашей жизни – и, конечно же, журналист ожидал, что тот скажет: атомной войны): «Я боюсь только одного, что я утром проснусь, и не будет

разговора. Что мне не с кем будет говорить, тогда я умру». Он сказал правду. Это конечная ситуация человеческого мышления.

Я хочу перейти ко второму моменту субъекта политической рефлексии. Этот момент я бы назвал простым словом – воля. Значит, мы переходим от эпистемологии к психологии, от мышления к психике, а еще точнее – от содержания рефлексии к состояниям сознания. Говорить о политике, говорить о политической рефлексии, говорить о политическом действии, полностью исключив момент воли, – это бессмыслица. Потому что сам предмет политики предполагает, что любое действие, любой акт мышления, к сожалению, любой физический акт является: *par excellence* актом чьей-то воли. Тут очень важно – «чьей-то». Вы еще не установили, «чьей». Сами ли вы пошли добровольцем на войну или вас кто-то послал на войну? Сами ли вы посадили друга в тюрьму или, как мы любим говорить, были вынуждены объективными обстоятельствами? И вот тут быстро отпрыгнем к одному из – не хочу никого ни шокировать, ни радовать – к одному из гениев политической рефлексии XX века: Владимиру Ильичу Ленину, который говорил, что «только дураки говорят, что революция сводится к объективностям. Не забывайте о субъективном факторе в политической революции, который в решающих фазах становится главным, а иногда и единственным фактором». Удивительный был человек: иногда беспардонно чушь молот, а иногда говорил интереснейшие истины – это бывает. Он понимал значение волевого акта для самой абстрактной политической рефлексии. Формула «субъективного фактора революции» – вы помните? – низы не хотят, верхи не могут. Это что вам – экономика? Низы голодные или сытые не хотят. А у верхов исчезла, утончилась, истощилась волевая сфера. Да послушайте! Читайте Витте, читайте Милюкова, читайте кого угодно. Они не могут, они уже больше не могут править. Никто. Ни левые, ни правые. Этот волевой энергетический, так сказать, момент как бы повисает и остается вне поля их политической рефлексии. А вот Ленин его ухватил. И очень, я бы сказал, его выделил, даже преувеличил.

Один очень талантливый – чисто политический – американский философ Сантаяна, говоря о другой стороне воли, заметил, что наши волевые импульсы а политической и общественной жизни труднее всего поддаются рефлексии. В воле

слиты как позитивный, так и негативный мотивационные аспекты – это очень важно понять, а понять это нелегко.

Когда мы говорим о воле в нашем философствовании о политике, воля перестает быть психологией. Воля – это не эмоции мотивации, интенции, весь этот бред. Воля уже принадлежит тому контекстуальному, я бы сказал, конгломерату политики в котором она реализуется. И тут я хочу просто привести слова двух успешных политиков и, конечно, людей с очень четкой политической рефлексией. Первое, это слова очаровательного джентльмена, одного из последних в истории республиканского Рима – Люция Корнелия Суллы. Когда его друг, младший Кресе, спросил:

– Но теперь, убив 2 тысячи римлян, ты доволен?

Он говорит:

– Нет.

И сказал страшную фразу, прошу извинения у дам:

– Я хочу, чтобы все римляне превратились в одну большую жопу, которую бы я с разбега пихнул сапогом!

Вы можете сказать: «Какой плохой патриот был Люций Корнелии Сулла». А он был одним из немногих людей своего времени, полностью преданных традиционному республиканскому Риму, с которым покончил или начал кончать молодой Гай Юлии Цезарь.

Согласитесь, что отношение было очень субъективным «Вынести не могу этот Рим, – говорил он, – тошнит». Но вспомните слова Гитлера в апреле 1945-го: «Оказывается, что немцы такая же зловонная дрянь, как другие». Но было поздно. Понимаете ведь это жутко интересно. Это особенно интересно в той извращенной – когда я говорю «извращенной», я имею в виду только извращенное мышление – категории людей, которых я условно называю «абсолютные революционеры», к которым на четверть относился и покойный фюрер. Только на четверть. Он не был целиком абсолютным революционером. Если мы перейдем к Сталину, Сталин ни на четверть, ни на одну сотую не был революционером, а Гитлер все-таки на четверть был. Абсолютно революционна идея жизни, общества как непрерывных радикальных

изменений. Ленин любил эту идею, а Сталин ее ненавидел. И еще один очень важный момент – простите меня ничего не

могу поделаться. Вы знаете, когда к Сократу пристали с ножом к горлу: «Ты за войну со Спартой или против?» – он ответил – «В мире не может быть ничего более мерзкого, грязного и подлого чем война. Но, – говорит, – есть только одно, что может быть даже хуже войны – это вы, афиняне. И, может быть, пройдя страшную войну, вы станете немножко лучше». Вы видите, как трудно было терпеть афинянам Сократа? А ведь, так сказать, безобидный софист, учащий учеников. А ведь он был политиком до мозга костей! Его любимый ученик Алкивиад говорит: «Учитель, политика невозможна без лжи и криводушия». Юноша был, как мы сказали бы, очень продвинутым. На что Сократ ему говорил: «Но ты пойми, дело умного и мудрого это понять и ограничить». Он как бы проводил свою идею умственной и, она же, этической дисциплины. Заметьте, что этической дисциплины как таковой не существует – это дисциплина вашего ума. Нельзя требовать или желать этики, морали от человека умственно дефективного, какими, по мнению великолепного психолога Уильяма Джеймса, являются примерно от 85 до 95 процентов всех людей. А другой философ, эмпирицист замечательный, английский психолог Мак-Таггарт говорил: «Нет, Джеймс сильно преувеличивает, я считаю, что недефективных только 1-2 процента».

В Древней Индии умственная дисциплина уже была дана в виде различных йог. Так, человека без дисциплинированного этического мышления в класс никто бы не пустил, да и он сам бы не пришел! Ученик приходил еще, может быть, невежественный, но уже с готовым к рефлексии мышлением, с уже педагогически, но йогически подготовленным мышлением, чего в Древней Греции, конечно, не было, как и в Древнем Риме.

На страшной политической сцене жуткого столетия пыток, истязаний и убийств, которые пережил Рим с конца I века до нашей эры до конца I века нашей, все-таки появились те немногие, которые принадлежали греческой школе стоиков. Тацит пишет: «На скольких настоящих людях держится Римская империя?». А дальше говорит: «Великий Цицерон считал, что на 10-20, а я говорю – на трех-четырех». То есть необходимы люди, которые бы показывали класс

дисциплинированного мышления. Но заметьте, что я сейчас сказал «показывали» – значит, они не в тюрьме и не в могиле, они могут показать. И это то, что фактически спасло древнеримскую культуру – нашлись люди, некоторые из которых были чистыми философами, некоторые историками, некоторые политиками, как известный вам император Марк Аврелий, – оказалось, что в Риме есть сверхэлита, которая в этих страшных политических условиях может рефлексировать и манифестировать эту рефлексию в сказанном и написанном.

Милые дамы и господа, считайте сегодняшнюю лекцию вводной. Это такой приятный разговор.

ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ
И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

*11 февраля 2006 года,
Александр Хаус,
конференц-зал «Европа»*

ПЛАН ЛЕКЦИИ

(0) Время. «Здесь – теперь» как исходная позиция политического философствования. Основные понятия политической рефлексии – как понятия другого времени и другого исторически случившегося или возможного политического философствования. Гипотеза условной «исторической универсальности» основных политических категорий. Понятие абсолютного в его связи с историчностью и универсальностью категорий и терминов политического мышления. Проблематизация как феномен политической рефлексии. Категория замещающего понятия, понимаемого в качестве конечной формы и результата проблематизации.

- (1) Понятие абсолютной политической власти.*
- (2) Понятие абсолютного государства.*
- (3) Понятие абсолютной революции.*
- (4) Понятие абсолютной войны.*

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1

Объект политической философии – предмет политической рефлексии, четыре основных понятия политической рефлексии – инструментальное понятие «абсолют» – неопределенность субъекта политической рефлексии – современный, синхронизация.

ЧАСТЬ 2

Фрагментированность субъекта политической рефлексии – абсолютная политическая власть – экстенсивность и интенсивность абсолютной политической власти.

Вопросы.

ЧАСТЬ 1

Объект политической философии – это политическая рефлексия, рефлексия о политике. Чьей политике, какой политике? И вот тут маленькое отвлечение, которое я условно называю «беседой трех дураков», к которым прибавляется четвертый – ваш покорный слуга. Первый дурак: «Хватит, старик, все это деньги: экономика, финансы и так далее». Второй дурак: «Ерунда, все это политика. Какие там к черту деньги, когда власть у меня их может отнять в любой момент, да и еще самого в тюрьму посадить». Третий дурак – Георг Фридрих Вильгельм Гегель: «Все это – признание, признание одного человека другим. Это и есть политика, борьба за признание, утверждение признания, отрицание признания. И другой политики нет и быть не может». И вот, наконец, ваш покорный слуга в качестве прибавленного к трем мудрецам четвертого философа. А я говорю: «Нет, все это – думание». О чем? О чем бы то ни было. В данном случае ваше думание – абсолютно. Ибо абсолютен его объект, не существующий вне вашего думания о нем и моей уже вторичной философской рефлексии над вашим и моим собственным думанием. Здесь, я думаю, был безусловно прав Гуссерль, когда он говорил, что «чье думание – в принципе безразлично для философа-феноменолога». Сам процесс, сама авантюра редукции уже предполагает – в силу гуссерлевской концепции «трансцендентальной субъективности», – что любой анализ думания неизбежно сужает его сферу, скажем, сводит иногда объект думания к субъекту, а нередко, и мы об этом будем говорить, субъект думания – к объекту. Подумайте, не весело ли будет каждому из нас редуцировать свое единственное, бесценное «Я» к тому, о чем Я думаю.

Вообще все должно делаться для нашего веселья. Говорить о вещах невеселых – чушь, не имеет смысла. Как говорил замечательный философ Лейбниц: «Серьезный человек полноценным философом быть не может, и уже никак не может быть полноценным философом человек, серьезно относящийся к самому себе». Это правда. Он был философом по определению и по жизни.

Теперь второй момент нашего веселого разговора о политической философии. Объект – политическая рефлексия. Предмет – основные понятия политической рефлексии. В каком-то смысле объект произволен, он дает большее поле свободы. Предмет установлен: так говорят в политике, так думают в политике, наконец – так

не думают. Поэтому предмета – и, простите, я подчеркиваю, в отличие от объекта – нет у меня в кармане. Я родился, думал, жил, старел, а он уже был. Уже были сформированы понятия, которые составляют предмет и которыми оперирует политическая рефлексия. Я выделяю четыре таких понятия, которые можно назвать фундаментальными. Их может быть гораздо больше. Но ни одна область знания не может иметь бесконечный предмет. При этом я совсем не отстаиваю эту точку зрения как принципиальную. Если мне скажут, что есть еще пятое, шестое, 123-е или их должно быть меньше – возможны другие редукции. Здесь я действую, скорее исходя из принципа, который я формулирую как принцип «Например». Политический принцип «Например». Итак, первое понятие – «политическая власть». Второе понятие – «государство». Третье понятие – «революция». И четвертое понятие – «война». Это – для начала думания.

Кстати, недумание, дамы и господа, – тоже разновидность думания. И очень важная разновидность. Если вы спросите про какого-нибудь джентльмена, что он сейчас делает, и вам на это ответят, что он не думает – то ответили совершенно правильно. А по эффекту политического воздействия политическое недумание может быть гораздо сильнее политического думания. В особенности в выделенных критических ситуациях.

В моем философском рассмотрении, я подчеркиваю – философском рассмотрении, для того чтобы понять, что мы в политической философии делаем с нашим объектом, с рефлексией о политике, вводится дополнительное инструментальное понятие – «абсолют». То есть мы имеем дело с абсолютной политической властью, абсолютным государством, абсолютной революцией и абсолютной войной. Но, заметьте, это чисто методологический прием. Ну, скажем, говоря о политической власти, абсолютной политической властью я назову не конкретную политическую власть, которой приписывается некое качество, называемое абсолютностью, а мышление, рефлексия о политике, в которой данная политическая власть имеет абсолютный смысл, то есть она мыслится не релятивной относительной в ее связи с другими феноменами общественной жизни, а напротив, это все другие феномены мыслятся как релятивные в отношении к ней. Понятно?

Значит, когда я думаю об этой политической власти, я ее не могу исключить из своего мышления, о чем бы я ни думал.

Чем «политическая власть» отличается от «власти»? Политическая власть – это более конкретное понятие и более частное в отношении к власти. Частный характер этого понятия очевиден в любых примерах.

И вот что здесь интересно: она абсолютна в том смысле, что бездна других вещей, о которых я думаю, оказываются включенными в эту сферу.

– Ну что, старик, тебя обокрали? Это политика!

– Да какая это политика? Это рост криминальности в северном пригороде города Лондона!

А я говорю:

– Хорошо, но ведь тут же подошедший полисмен скажет:

«Это у наших политика такая, что теперь в Лондоне все может случиться».

Да это смешно, это детский сад политической академии! И тем не менее введение, как инструментального понятия, понятия «абсолютного», очень ценно. В конце концов, «абсолютное» в политической рефлексии – это не только степень, это и ее качество. И вот это понять трудно, это такое качество вашего мышления о политике, которое обуславливает не только доминирование данного понятия в вашем мышлении о политике, но и доминирование этого понятия, когда вы черт знает о чем мыслите. Можете о любви, можете об экономике, да о чем угодно, оно абсолютно как в интенсивном, так и в экстенсивном смысле этого слова.

Философское мышление – о котором, к сожалению, у нас с университетских времен развилось представление как о самом общем – это тоже очень частное мышление не наряду с другими или многими другими.

Говоря об абсолютном, я подчеркиваю, что это – термин политической философии, в данном случае моей. И будет чудью, если вы откроете окно и скажете: «О, кажется, начинается абсолютная революция!». Или радио пищит, или телевизор что-нибудь показывает: «О, это пахнет не какими-нибудь Косово или Чечней, а абсолютной войной!». Вы должны понимать, о чем мы говорим, ведь не о том, что происходит в Косово или на Кавказе, – ничего подобного. А о том, что происходит в нашем собственном мышлении и в восприятии других людей. Это только в

политической рефлексии любое политическое событие может мыслиться как неабсолютное или абсолютное.

Поскольку я буду возвращаться к понятию «абсолют» в каждой лекции и на каждом шагу, я буду приводить простые примеры, чтобы сделать ваше восприятие более легким. Я помню, более 16 лет назад, в разгар горбачевских реформ, ко мне на конференции подошел английский философ Тэд Хондрик и сказал: «Где ваша настоящая революция?». А Тэд Хондрик в возрасте шестнадцати лет в 1938 году убежал из дома воевать в Испанию. «Это же, – говорит, – то, что произошло в России, – противно смотреть!» Совершенно очевидно, что старик Хондрик исходил из идеи абсолюта. Не только абсолютной революции в смысле, что она камня на камне не оставит, а абсолютной в смысле ее абсолюта в мышлении?. А я рос в другое время, и в моей политической рефлексии, я подчеркиваю – бытовой, идея абсолютной революции существовала уже с чужих слов, с чужого мировосприятия, а не с моего собственного.

Я ответил Тэду Хондрику – ну жалко же было старого идиота – я ответил:

– Она уже была, настоящая,

– Где, когда?

– Ну как же, в 1917-м!

Вы понимаете, это был ответ по существу. Потому что в тот период, в начале XX века, идея абсолютной революции была абсолютно доминирующей в голове как Владимира Ильича Ленина, так и Николая Романова. Боялись абсолютной революции, мечтали об абсолютной революции, ненавидели абсолютную революцию, любили. Это неважно, она была абсолютной. Она определяла политическое мышление и расширялась от одного данного конкретного объекта к любым политическим фактам, событиям и обстоятельствам. Хондрик очень обиделся.

Примеры я люблю и не люблю. Цитировать – иногда цитирую. А примеры люблю исторические. Собственная жизнь – тоже история, поскольку ты ее уже осознал как, и не только, твою историю.

Теперь быстро перескакиваю. Совсем другой джентльмен, не Тэд Хондрик, а очень талантливый историк идей Освальд Шпенглер на следующий день после того, как случилась немецкая революция, написал: «Немцы, бездари, какой позор, что это

за революция, чушь какая-то! Ерунда, курам на смех. Вот русские сделали настоящую революцию». То есть ту, о которой, исходя из своих коммунистических убеждений, мечтает и мечтал этот дурак Тэд Хондрик, о ней же, нисколько ей не сочувствуя, говорил в общем-то гегельянец Освальд Шпенглер. Почему ему, как вы думаете – а Шпенглер был совсем не дурак и безумно талантливый человек, – почему ему германская не понравилась по сравнению с русской? Потому что он исходил из гегелевского понимания действительности и разумности в связи с действительностью. Что это за революция? Разумеется, она неразумна, потому что она недействительна. И не считайте, пожалуйста, бедного Шпенглера людоедом, он говорил: «Да говорят, что на главной площади было убито всего семь человек». Разумеется, в этом смысле португальская революция, сбросившая иго диктатора Салазара, уже совсем была бы позором в глазах и Хондрика, и Шпенглера: было убито три человека, и португальцы клянутся, что двое были убиты совершенно случайно, один рикошетом, а другой не увернулся от бронетранспортера. Так это же позор революции! И все это не шутка, ибо в политической рефлексии и Шпенглера, и Николая Романова, и Чичерина, и культурного идиота, присяжного интеллигента русской революции Луначарского довлела идея абсолютной революции. Все с ней сравнивалось. С конца XVIII века революция рефлексировалась с точки зрения абсолютной революции. Вот поэтому очень важно начать разбирать основные понятия, которые я перечислил: «политическая власть», «государство», «революция» и «война» – под углом зрения абсолютного.

Обычно конференции до политической философии бессмысленны, потому что люди сообща не думают, они сообща спорят и валяют дурака. Это борьба не за истину, а борьба за признание того, кто говорит. Это неинтересно. Как любил повторять Мераб Мамардашвили: «Философия – это одинокое дело». И когда ты ее манифестируешь, ты уже делаешь первый шаг к будущей борьбе за твое право заниматься ею одиноко.

Следующий пункт – субъект, о котором мы немного говорили на предыдущей лекции. Первое, что нам следует знать: субъект политической рефлексии, по определению, простите за плеоназм, неопределенен. Это могу быть я, это можете быть вы, это может быть русский народ или новозеландский – это случай определяет

субъекта политической рефлексии. Субъект определяется случаем попадания одного человека или группы людей в определенные, по Гуссерлю интерсубъективные, обстоятельства, которые как-то примерно определяют субъекта. А чтобы понять это, надо – не хочу огорчать вас, дамы и господа – читать не Шпенглера, не Гегеля, а надо читать историю, конкретную историю конкретных стран в конкретные эпохи. И иногда вы придете к каким-то, с точки зрения нашего опыта, нашего недостаточно четко себя отрефлексировавшего мышления, к каким-то оценкам, которые могут показаться парадоксальными.

ВОПРОС: Как народ может быть субъектом политической рефлексии?

Я уже это сказал – все начинается со слова. Наполеон сказал своему министру Больнею: «Мой народ хочет добрую старую религию. Я верну ее народу» – вот вам народ. Вы поймите, так уже сказано: мой народ. Он уже сделан субъектом рефлексии тем, кто произнес эту безумную фразу. Это не имеет никакого значения, какая фраза – правильная или неправильная. А почему вы, кстати, думаете, что торговый банк «Джи Пи Морган» может быть субъектом политической рефлексии, или римский папа, или ватиканский синод?

Я ведь поэтому и начал с того, что в принципе субъект политической рефлексии всегда неопределенен, во-первых, и фрагментарен, во-вторых. Он и должен быть неопределенен. Им может быть что угодно. Что касается объекта, то этим объектом будет то, о чем вы думаете в терминах политической рефлексии. О революции, о войне, о цене мяса на рынке – неважно. Но этот объект, будучи включенным в политическую рефлексия, уже становится политическим. В одной из блестящих работ Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» были лозунги – вы думаете, это смешно! – «Vive Napoleon!», «Vive le saucisson!» («Да здравствует Наполеон!», «Да здравствует колбаса!»). О колбасе думали! Как думали? Политически. Мы находим ряд ситуаций, в которых – объективно – политическая рефлексия уже является и политическим действием. В некоторых ситуациях это может быть так, а может быть наоборот, в зависимости от ситуации. Я приведу один пример, очень простой. Если мы возьмем возникновение и развитие тоталитаризма, то в тоталитарном государстве, естественно, любая политическая рефлексия является

политическим действием. Но это случай аномалии, каковой является тоталитаризм. В принципе, я считаю, что невозможно построить такую деятельностную методологию, которая бы описывала политическую рефлексию как политическое действие. Я в этом совершенно убежден. Ну хотя бы потому, что видел, как кто-то пытался это сделать, и даже сам пытался это делать. Ничего не получается. Это можно, но тогда надо ввести такое количество ограничивающих условий, где действие будет не совсем действием, рефлексия – не совсем рефлексией, и так далее, и так далее.

Забегая вперед, в тему другой лекции о революции, приведу пример. Истинным автором германской революции 1933 года был Адольф Гитлер – надо называть вещи своими именами. В одном из самых интересных исторических документов мировых революций, в его книге «Майн кампф», он формулирует эту революцию. Но что самое интересное, в его формулировке этой революции (которая случилась через десять лет после того, как его в тюрьму посадили), даже в очень краткой политической формуле захвата власти, революция в его мышлении не была абсолютной. А почему? Дамы и господа, я много читал об этом человеке. У этого человека принцип мышления был неревOLUTIONным. В каком-то смысле, в отличие от его главного союзника-противника Сталина, Гитлер был, кроме всего прочего, в душе и консерватором, и просто скромным тихим немецким буржуа, бюргером с диким запасом бешеной негативной энергии. Если бы ему сказали: «Да это же абсолютная революция, полное преобладание в мышлении идей революции за счет всего прочего» – он бы сказал: «Да вы с ума сошли! Да я хочу, чтобы архитектура была хорошей, чтобы всегда хорошую рыбу и колбасу можно было в магазине дешево купить».

Ведь неприятно называть вещи своими именами, да? «Гитлер – это очень плохо, а революция – тоже плохо, но все-таки не так плохо, как Гитлер» – это чушь. Я вам дам один методологический совет: если вам неприятно о чем-то подумать – это первый признак того, что именно об этом и стоит подумать.

Один замечательный американский историк и статистик подсчитал, что ко дню бостонского чаепития – начала американской революции – политически отрефлексировали эту ситуацию как ситуацию революции шесть человек (задним

числом, естественно). Тогда как отцов-основателей было несколько десятков. И этого оказалось достаточно. И позвольте мне утверждать, что если американскую революцию отрефлексиовали шесть человек, то ту огромного значения революцию, хотя и не абсолютную, которая произошла в Германии, отрефлексиовал один человек – Адольф Гитлер. И отрефлексиовал ее с идеальной точностью, не допускающей разночтений.

Большинство людей, это не секрет, думают вульгарно. При этом употребляя самую страшную формулу мирового невежества «все так думают», которая не верна фактически: откуда можно знать, что все так думают? Одна близкая мне особа сказала: «Да ведь то, чем ты занимаешься, никому на свете не интересно». Я ей очень серьезно ответил: «А раз это интересно мне, то ты уже не можешь сказать – никому». Этот универсализм, приписываемый мышлению, – первый знак вульгарности.

Разве это можно сравнить со словами одного из гениев американской революции – Томаса Джефферсона, который считал, что истинное переустройство страны могут произвести люди, которые регулярно моются, говорят на прекрасном английском, а в дополнение ко всему знают латынь, древнегреческий и неплохо бы – древнееврейский. Вот каковы стандарты Америки того времени – к революции приходило немало сверхкультурных американцев. Гитлер никогда не был снобом. Его революция никогда не была абсолютной. Итак, субъектом политической рефлексии может быть один человек, могут быть два человека, может быть семья, может быть партия, может быть народ. Может быть, как считают недавно опубликовавшие в России свою книгу два шведских умственных дебила (у них, вероятно, генетически это было обусловлено, надо было смотреть при рождении), весь мир, объединенный (пardon, я сам плохо знаю, что это такое) Интернетом.

Я, может быть, издеваюсь иногда, говоря о людях. Но, заметьте, несерьезно. Серьезно я только хвалю. В конце концов, у каждого все-таки хватает мышления, худо-бедно, на то, чем он занимается. Хотя бывают исключения.

Теперь перейдем к политической философии, которая исследует политическую рефлексию. Каким образом мы можем охарактеризовать субъекта политической философии, в данном случае вашего покорного слугу? Я бы сказал, что в моей субъективной философской позиции есть два объективно важных момента. Первый

момент: я исхожу из того, что моя собственная позиция является современной. Не в силу того, что все мудрые люди или идиоты всех стран ее разделяют, но я *сейчас* думаю – значит, современно. Фактически получается так, что любая политическая ретроспектива трансформируется современностью моего философского взгляда на политическую рефлексию.

Запомните, никакого другого смысла, кроме буквального, слово «современный» не имеет. «Современный» – всегда современный чему-то. Вы понимаете, временно современный. Иногда – мгновенно современный.

У вас здесь шел замечательный фильм, который я сам считаю моментом гениального схватывания «нулевой» политической рефлексии, без которой невозможна ни одна революция, ни одна война. Ведь это – о синхронности нулевой рефлексии с внешне наблюдаемым событием – фильм, созданный Отаром Иоселиани, «Братья-разбойники». Фильм, за который его, естественно, чуть не побили. Там и о русских, и о французах, но все-таки в основном о грузинах. Я за последние полтора года спросил по крайней мере тридцать человек из России, кто видел этот фильм (Отар его привозил в Москву). Из тридцати человек один сказал, что смотрел. А, значит, другие смотрели всякую муру собачью. Да, времени нет, я понимаю. А это замечательный фильм. Там один человек проходит и смотрит: двое сидят, жарят шашлык, пьют вино, и вот один говорит другому: «Ты пулемет-то подвинь». И направляет пулемет на перекресток. А там идет старуха и тащит кошелку с картошкой. И он – трах, первая пуля убивает старуху. Дальше спускается к ним молодая девушка и говорит: «Ребята, так хорошо отсюда видно, а дайте я посмотрю». Становится на колени, чтобы посмотреть в оптический прицел пулемета. И для того, чтобы доставить девушке удовольствие, они тут же подстрелили еще одного грузина, который помогал кому-то нести диван. Такой синхронностью много занимались современные физики-теоретики: событие как событие, синхронизированное в мышлении, и мышление как бы синхронизированное своей мгновенной направленностью на событие. Любое мышление – философское, художественное, какое угодно, – направленное на какой-то акт, человеческий или нечеловеческий. Я думаю, на этом я закончу описание своей собственной позиции. Моя позиция – условного и искусственного синхронизирования с той политической, рефлексией,

которую я рассматриваю. А рассматриваю ли я политическую рефлексию Антуана Сен-Жюста, или Максимилиана Робеспьера, или джентльменов, страшно неумело дающих политические интервью московскому телевидению, или рефлексию политическую генерала Лебедева – это мне все равно. Я помню об этой синхронизации, я помню, что его рефлексия – не моя, моя рефлексия – не его.

Но я помню и другое. Меняется время. А время в этих лекциях для меня существует только как время мышления о политике. Время, в смысле которого мы рассматриваем политику, которое само является производным от состояния данной политической рефлексии. Время вторично, оно не может быть причиной того или иного мышления. Так иногда могу сказать: это было время, когда преобладала та или иная идея. Но гораздо чаще это категорически сказать не могу. Таким образом, исторический аспект пусть не всегда выражен в моем философском подходе, но всегда застолблен, всегда присутствует.

Философ может вводить какой-то один момент и в этом моменте *современиться* с событиями. Вот он выглядывает из окна, там какие-то события, то ли кого-то качают, то ли в кого-то стреляют из пулемета. Он может сказать: «Ах, моя дорогая, какой ужас». Так он уже не философ! Для философа нет никаких «моих дорогих» и нет «ужасов». Он смотрит и думает, и он ловит события в моменте своего мышления. И оно уже в это время больше не событие, а наблюдаемый им момент другой рефлексии, обычно нулевой.

ВОПРОС: Но не существует ли еще и политология помимо политической философии? Кроме рефлексии те, кто интересуется политикой, должны что-то еще изучать?

Простите, пожалуйста, я не имею чести быть политологом, я просто не знаю, что это такое. Я просто думаю (как думал мой покойный друг, гениальный современный филолог России, совсем недавно умерший, Михаил Леонович Гаспаров), что здесь очень многое, слишком многое зависит от языка. От того, на каком языке мы захотим высказать ту или иную мысль. Современность отмечена появлением многих наук, которые оказались полностью неспособными себя предметно сформулировать. Будь то сексология или политология, ни та ни другая не

смогли сформулировать предмет (а я пытался его обнаружить, прочел три или четыре... предисловия). Потому что формулировка предмета науки изнутри этой науки невозможна – она может прийти только извне. Только какая-то другая область человеческого знания и человеческого мышления способна сформулировать предмет любой конкретной науки. В политологии, я считаю, с этим катастрофа. Но ведь я при этом и не думаю называть политологию или сексологию ерундой. Нет, наоборот. Возможно, там содержится что-то безумно интересное, но я пока ничего не нашел.

ВОПРОС: Объект сексологии существует?

Объект существует. Но предмет – это совсем другое дело. Предмет – это та система понятий, слов, выражений и мыслей, в которой изучается объект. Хотя последний из шарлатанов, один из политологов Госдепартамента, все-таки написал две книжки – это Фукуяма, гегельянец великий (Гегель был мирный, патологически тихий человек, робкий, но он бы Фукуяму убил), великолепно обошелся без определения предмета своего философствования. А без формулировки предмета вы, например, не сможете преподавать в университете. Будь то квантовая механика, горючие материалы или уголовное право. Это нереально. Умоляю вас заранее, не считайте, пожалуйста, что все шарлатаны мира – в вашей стране. Они есть везде! Вообще забудьте об исключительности России.

ВОПРОС: Вы сказали, что недумание – это тоже форма думания. Это меня несколько удивило. Вы разделяете наличие некоторых представлений о чем-то и процесс думания, для которого необходимо делать некоторые усилия?

Это не я придумал и не я ввел слово «недумание» как разновидность думания. Впервые это было сформулировано великим буддийским философом VI века нашей эры Асангой. А потом в очень сильно измененной форме переформулировано Гуссерлем в его книге «Идеи», 1911 год. Вы ведь этот самый вопрос задали, уже имея в голове слова и понятия «думание» и «недумание». То есть, чтобы задать этот вопрос, вы уже произвели определенную рефлексивную процедуру, о которой вы не можете сказать, что ее нет. И в смысле этой рефлексивной процедуры мы можем вполне сказать, что есть такое думание как недумание. Думание со знаком минус.

– Что он делал?

– «Не думал», – и это в отношении конкретных политических и жизненных ситуаций может иметь огромное значение.

В заключение я хочу сказать, что основные положения, которые я сегодня пытался объяснить, были сформулированы не одним мной, а вместе с присутствующим здесь моим другом Олегом Борисовичем Алексеевым.

ЧАСТЬ 2

Я уже сказал, что в принципе субъект политической рефлексии неопределенен – здесь господствует полная произвольность, начиная от риторики политиков и кончая политологами и политическими философами. Быстро коснемся все-таки других аспектов субъекта политической рефлексии, к которым я буду все время возвращаться по ходу уже конкретного рассказа о разных вещах. Мы сейчас сказали, что субъект неопределенен, как народ, который хочет дешевого транспорта и доступного здравоохранения. И тут оказывается, что мы встречаемся с другой проблемой, не менее серьезной, чем проблема неопределенности субъекта политической рефлексии, – проблемой фрагментированности этого субъекта. То есть оказывается, что, назвав этого субъекта словами «народ», «страна», «материк» или заявив, что «мы африканцы», «мы азиаты», «мы евразийцы» эта неопределенность редуцируется только на мгновение, а потом начинается фрагментированность. И вы знаете, что безумно интересно. Проследите за развитием политической борьбы у славянских народов в XIX веке: так, чехи еще не успели выпустить свою первую культурно-политическую программу младочешского движения, а тут уже словаки заявляют: «А мы не чехи». А богемцы заявляют: «А мы не моравы», и все хором: «Немцы и даже евреи (что уж тут поделаешь) – это еще туда-сюда, но цыгане – нет, они нам не подходят». Вот вам чудеса пробудившегося национального самосознания! То есть достаточно человеку отождествить какой-то коллективный субъект политической рефлексии, как он у него на глазах начинает фрагментироваться. Более того, когда редукция достигает своей конечной точки и сводится к одному индивиду, то и здесь этот один индивид неизбежно фрагментируется. То он – как что-то одно, то он – как другое. Вот возьмите хотя бы политическую риторику и политическую демагогию: «Как гражданин, я с этим согласен, а как член партии лейбористов (коммунистов, державников) – нет». И поэтому интересно брать какие-то точки, в которых политическая идентификация субъекта достигает своего максимума. Когда он уже определяется, но еще не подвергся фрагментированию.

Один из самых определенных в своей индивидуальности субъектов политической рефлексии Николай Павлович (Николай I), который искренне считал,

что думает о политике в России он один, говорил: «Со всем можно жить, все можно перенести, кроме одного – взяточничества». Так ведь перенес же, не умер!

Итак, перехожу к первой теме – абсолютная политическая власть. И заранее вас прошу, никогда не путайте проблему политической власти с проблемой государства. Это совершенно разные вещи. Так, с чего начать разговор на тему «политическая власть»? Разумеется, только с тех случаев, когда она себя заявляет. И все ж таки приходится начать с того, что уже как-то было осмыслено моими предшественниками в политической философии.

Кто пытался после Гегеля, в наше время, дать пусть даже безумно редуцированное определение тому, что такое политическая власть? Вот скажите, дамы и господа, если у вас бы вдруг, у кого-нибудь из вас мелькнула идея такого определения, я бы в ноги упал. Но иногда оно вырывается на интуитивном уровне, как когда-то бедный, действительно замечательный, необыкновенный президент Америки Линкольн говорил: «О, политическая власть – это когда они делают то, что я им говорю». Это слишком редуцированно, но в этом есть и правда. Хотя и не выдерживает феноменологического анализа.

Лет сорок назад американский, не могу его назвать политологом, не хочу оскорблять человека, он себя называл скорее политическим социологом, Стенли Шехтер дал такое определение: «Политическая власть – это когда один человек посылает другого к третьему, чтобы другой заставил третьего делать так, как хочет Первый». Это очень редуцированно, но совсем не так глупо, как может показаться на первый взгляд. Двумя людьми политика не делается, она не делается действователем и объектом действия. Политика начинается там, где появляется третий, где первый говорит Ивану: «Иван, пойд и скажи Петру, если не отдаст коров, то мы его уьем». То есть действует первый на третьего посредством другого. Хотя в моей собственной версии она скорее начинается там, где я говорю другому, как ему действовать с третьим.

Я помню, у Маркеса (прекрасный писатель, но голова плохо работает, хотя воображение гениальное) один простой человек говорит: «А почему вчера Хозе нашли в кафе с перерезанным горлом?». Тот говорит: «Педро, это политика». Вот и

заметьте, казалось бы, чушь полная, да? А, между прочим, ведь и Педро, и Хозе с перерезанным горлом знали, что это политика, когда убивают.

Так кто же здесь, прежде всего, властвует над кем? Первый над третьим, конечно. Потому что пока все спокойно, третий ест свою корову, первый говорит: «Дай мне половину». Этого не бывает, никто ему не отдаст половину. Нужен второй в политике. И вот тут я перехожу к самому главному. Кажется, ситуация – элементарнее нет (если кто-нибудь ее не понял, то просто тогда мне надо сложить оружие и никогда больше его не брать в руки). Но есть одно ограничивающее эпистемологическое условие, в отсутствие которого эта ситуация фиктивна: чтобы эта ситуация политической власти была реальной, нужно, дамы и господа, знание о том, что такая власть есть – одно и то же знание у всех троих. Никто и не подумает отдавать вам половину или четверть своей коровы, если он не знает, что первый – есть власть. Первый должен знать, что у него есть власть, второй должен знать, что он делает с третьим, а третий должен знать: да, вот первый прикажет и со мной расправятся. И этот эпистемологический аспект политической власти совершенно необходим. Здесь нужно знание, пусть в сколь угодно мистифицированном виде. Знание, которое образует «поле» политической рефлексии. А если этого знания нет, то не может быть политической власти. С какой стати я кому-то буду что-то давать, подчиняться или, как в случае греко-персидской войны, плыть и эту вонючую Персию на вонючих триерах? Что за вздор? И поэтому я заключаю: политическая власть не существует без знания о политической власти.

Но мы сегодня говорим не о политической власти, а об абсолютной политической власти. То есть с того момента, когда она не только преобладает в политической рефлексии, но и реализует себя как абсолютная. И вот я хочу вам привести один такой четырехступенчатый пример. Представьте себе, 26-27 октября 1917 года, холодима страшная, на ветру плещется плакат «Вся власть Учредительному собранию!» (это потом матросики стали делать коррективы – и правильно совершенно – «Вся власть Советам!»). Не забывайте, в коллективные субъекты революции включился Петросовет, наиболее активные левые члены которого относились к идее Учредительного собрания крайне отрицательно). Ну, значит, плещется этот плакатик, холодно, наставляем воротник, прочь из этого

Петрограда. Но там уже написано: вся власть Советам. Первая абсолютистская формулировка. И это очень важный момент. Поймите, что он риторический только по форме. Более того, здесь уже фигурирует конкретная форма политической власти, называемая Советами, и она была уже готова. Это первая ступенька.

Вторая ступенька: переносимся из этого страшного петроградского климата в теплую милую Грузию. Читаем роман Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Там есть одна гениальная сцена, о которой мне один английский социолог говорил, что она должна быть включена во все учебники социологии. Помните, шла борьба меньшевиков с большевиками в Грузии. Уже многое осталось позади, и Гражданская война, и поляки, и интервенция, и все что угодно. Грузия. Долгая перестрелка, меньшевики атакуют большевиков, большевики атакуют меньшевиков. Неинтересно. И Сандро – человек минимальной политической рефлексии, но не нулевой – видит, как из избушки выходит человек, небритый, в кальсонах, совершенно ошалелый от усталости и от бессонницы, коммунист, большевик. А эти тут шашками машут в папах. И Сандро говорит: «Это – власть, другой не будет. Она останется навечно». И он не был мистиком и пророком, он был человеком очень ограниченной, пусть минимальной политической рефлексии. При этом он точно сформулировал в абсолютистских терминах: власть одна, другой нет и не будет. А эти все будут махать шашками, устраивать роскошные парады в Тбилиси, периодически по никому не понятной причине будут стрелять из пулеметов по южным осетинам. Но это необходимо в порядке чисто, я бы сказал, эстетическом.

Переходим в блаженные, хотя и трудные времена, 1936 год. Москва, Большой театр. Вечерние политзанятия. Тема «Диктатура пролетариата». Известный оперный дирижер Сергей Небольсин, такой Интеллигент Иителлигентович Интеллигентов, поправляет пенсне и спрашивает в конце занятия:

- Диктатура чего-с, пардон-с? Ему преподаватель говорит:
- Пролетариата.
- Мерси-с, – отвечает Небольсин.

Значит, политическая власть, в отличие от Петрограда 1917-го и Грузии 1921-го, уже сформулировала себя как диктатура. А «чего-с»? Ну, пусть пока оставим «пролетариата-с». Потому что это уже не имеет ни малейшего значения!

Дальше. Надо же нам как-то идти дальше. 1956 год – все-таки продвинулись, согласитесь. Московская кухня московской коммунальной квартиры, это я наблюдал лично. Выходит на кухню старая большевичка с ленинским религиозным (фу, революционным! – кстати, фрейдистская оговорка) стажем. Конечно, по имени Роза Соломоновна. Конечно, муж репрессирован в 1937-м, конечно, сын погиб на войне – все нормально. Но ее лицо выражает полный энтузиазм. Она держит в руке «Известия»: «Смотрите, впервые за все время советской власти здесь написано не диктатура пролетариата, а диктатура народа». Ну мы, конечно, можем сказать, что она – выжившая из ума идиотка. Но на самом деле она воспроизвела определенный штамп политической рефлексии в отношении фундаментальнейшей идеи абсолютной власти. Ведь уже в это время, 1956 год, оттепель, «диктатура» – это неудобно. Сталин, кстати, этим словом не злоупотреблял, очень часто его вычеркивал. Вообще Сталин очень много вычеркнул из политической риторики ранних советских лет. А тут была «диктатура народа». В то время я не занимался политической философией и не полез смотреть это место в «Известиях». Что я, с ума сошел, у меня дел было по горло!

Заметьте, Роза Соломоновна, дядя Сандро, тот же Небольсин, да и (пока еще секретарь ЦК) Никита Сергеевич Хрущев, они были все включены в сферу политической рефлексии, в «поле» политики, так сказать, центром которого была идея: политическая власть как абсолют. Причем включены они были на равных основаниях. Последнее очень важно. Без этого феноменология абсолютной политической власти невозможна. А что значит абсолют в каких-то самых элементарных феноменологических выходах? Это значит не только «одно и никакого другого», «одна и никакая другая». Само понятие «абсолютность» в применении к политической власти как бы работает в двух направлениях: и экстенсивном, и интенсивном. Экстенсивно – она полагает себя самой абсолютной в отношении любой другой политической власти, в любой другой стране. Это ее экстензия. В порядке интенсивном – она полагает себя абсолютной в отношении любых вариантов и версий внутри себя самой, которых просто не должно быть. Отсюда и – «на равных основаниях». То есть не должно быть никакой другой власти ни вовне, ни внутри ее, ни в той сфере, в которой она властвует.

Теперь разберем возможные более конкретные выходы, точнее, выводы по поводу отношения этого фундаментального понятия политической рефлексии с тремя другими понятиями. Сначала с двумя. Первое – государство. Абсолютная политическая власть в своей саморефлексии ставит себя всегда в отношении к государству в позицию первичную. Государство оказывается каким-то выводом. Характер государства, собственно говоря, может быть изначально редуцирован к типу политической власти. Называйте, как хотите, называйте ее абсолютная, диктаторская, тоталитарная. Об этом мы поговорим позже. Но здесь важно абсолютное рефлексивное преимущество, преобладание понятия политической власти над понятием государства.

Очень интересно отношение к еще одному фундаментальному понятию. Абсолютная политическая власть и ВОЙНА. В основном (здесь есть исключения) абсолютная политическая власть относится к войне негативно. То есть любая война в принципе опасна любой абсолютной политической власти, потому что режим политической рефлексии может очень сильно измениться в какую угодно сторону. Вы знаете, гениальный человек, который, к сожалению, не написал самокомментария, Клаузевиц, великий немецкий генерал, сказал: «Война – это продолжение политики другими средствами».

В истории, дамы и господа, генералы о политике сказали гораздо больше интересных вещей, чем политики. А почему? Делом занимались!

И вот тут-то мы спросим себя: а что лежит в основе политического отношения абсолютной политической власти к войне? В целом отношение негативное, только один позитивный выход – это усиление эффекта интенсивности. Или, как говорил гений абсолютной политической власти Антуан Сен-Жюст в Комитете общественной безопасности (помните, был такой комитет во время якобинской диктатуры): «Война еще более сплотит нашу нацию». Нарушая этим принципиально негативное отношение абсолютной политической власти к войне. И вот что здесь очень важно. Что абсолютная политическая власть, как какое-то время господствующий феномен в политической рефлексии, сама существует всегда в очень зыбких режимах равновесия и нарушения равновесия между интенсивностью политики и экстенсивностью. И между «нет» и «да» в отношении таких феноменов, как война.

Война – это в принципе опасно, но иногда она нужна, в редчайших случаях она необходима.

В порядке краткого исторического комментария: как думали об абсолютной политической власти те исторические персонажи, которые ее реализовали (с точки зрения политической философии, которая сопоставляет мою сегодняшнюю политическую рефлексию с рефлексией тех людей). При этом я вас прошу полностью отвлечься от политической риторики, которая сама по себе очень интересна и дает много интереснейшего материала. Вот что говорил первый чемпион абсолютной политической власти в мировой истории, который не только такую власть реализовал, но и формулировал свою политическую рефлексию, потому что был канальски культурен, не и в пример нынешним главам государств, – Октавиан Август, в сенате он говорил: «Война – это очень хорошее дело, но только если мы победим». Вы можете сказать: «Тоже мне, царь Соломон!» Но, заметьте, он не был пошляком, он был, конечно, страшным лгуном и мерзавцем, но пошляком он не был. Он прекрасно понимал и объяснял это понимание другим.

Когда я говорю про кого-то «думает, понимает» – для нас это имеет смысл, если оно выражено, написано, сказано, запомнено. Все остальное – это болтовня. Поэтому политическая рефлексия, это значит: читал, документировано, от соседей по дому слышал, кукушка на хвосте принесла.

Он, развивая эту мысль уже устами, конечно, своих последователей и приспешников (в уроках политической риторики Октавиан не нуждался), ее формулировал так: «Моя власть, – а его власть была абсолютной, он этого не скрывал, он не говорил «наша», он говорил «моя», – моя власть воплощает в себе власть империи». И он император. Но он не просто император: он в Риме воплощает ту власть, которую империя уже реализует в Англии, давно в Ливии, уже в Парфии, очень скоро в Палестине. То есть он есть некоторое идеальное сосредоточие. Он есть та точка редукции, в которой понятие империи во многом заменило традиционную формулу «Senatus Populus Que Romanus» – «Сенат и народ римский». И с каждой следующей ссылкой на эту формулу каждый думал: «Это известно всякой римской бродячей собаке, вранье». А империя была, она вошла и новую формулировку политической рефлексии. И вот тут очень интересный момент: это не просто

государство, здесь выявляется предел экстенсивности в принципе любого абсолютного государства, уже как империи, выходящей за пределы Вечного города, где эта империя родилась. В этом балансе экстенсивности и интенсивности побеждает экстенсивность. Побеждает в редукции политической рефлексии к Цезарю Августу Октавиану.

Но когда произошла неприятность и его армия была на три четверти уничтожена в Германии, это изменило не только практическую политику римского – первого в истории – абсолютного государства, но и очень сильно изменило римскую политическую рефлексию.

Но не будем забывать, что в Риме начала I века нашей эры еще жила республиканская политическая культура.

Когда мне говорят об упадке русской политической культуры, я говорю: «Ну остановитесь, остановитесь». Потому что, если мы начнем изучать феноменологию того, что вы находитесь в упадке, то вы увидите, что это не упадок, что это называть упадком можно только с точки зрения такой исторической ретроспективы, которая не выдержит самой элементарной феноменологической критики. И вообще, я – абсолютный антиупадочник.

ВОПРОС: Если я правильно понимаю, то любой предмет может быть предметом политической рефлексии. Можно ли это рассматривать как акт власти – назначение предметов предметами политической рефлексии? По аналогии с тем, что вы сказали про первого, который посылает второго убить третьего.

Знаете, в политических ситуациях, описанных, скажем, Саллюстием или Светонием, в Древнем Риме такого рода политизированное мышление граждан бывало и прямым актом власти. При этом вовсе не во всех случаях абсолютной. Ведь почему интересно рассматривать эти феномены в их абсолюте? Потому что абсолют всегда лучше мистифицируется. Понимаете? Ведь, в конце концов, каждый политический феномен, чтобы реализоваться в действительности, всегда себя мистифицирует. Вы можете говорить попросту – «да врет о себе!». Но я не люблю этого слова. Вообще невозможна реализация в крайних формах ни одного

политического феномена без мистификации. Причем бывают такие случаи, когда мистификация становится не выражением политики, а ее основой. Поэтому для того, чтобы изменить политическую ситуацию, это изменение должно начинаться с демистификации политической рефлексии. Я хочу, чтобы вы привыкли к тому, что большинство интересных человеческих вещей начинается не снизу, не с желудка, не с пениса, как воеет сейчас интернационал дураков всех стран, который покрепче коммунистического оказался. А большинство радикальных изменений идет от изменения мышления. Причем иногда – микроизменений, флюктуации, а иногда – достаточно сильных трансформаций. Поэтому говорить о каких-то объективных эффектах политической рефлексии и о возможности ее превращения в политическое действие или в представление о ней как о политическом действии можно только с учетом конкретных ситуаций, в которых политическая рефлексия, о которой мы говорим, реализовалась. То есть себя манифестировала.

Только за последние десять лет – исторически ничтожный срок! – в двух только языках, английском и русском, появилось около сорока бессмысленных и всеми принятых политических клише. Например «урегулирование политического кризиса», «достижение взаимопонимания по ряду вопросов» и так далее. Ведь если есть кризис, то его нельзя урегулировать. А взаимопонимание может быть либо полным, либо никаким.

ВОПРОС: Полагаете ли вы возможной вариативность абсолютной политической власти? Если да, то мы можем сказать, что абсолютная власть Запада и абсолютная власть исламского общества – разные?

Во-первых, никакого исламского общества нет, так же как и противопоставленного ему христианского. Если же говорить об исламском государстве, то даже в своем наиболее «теократическом» варианте оно гораздо менее склонно к политическому абсолютизму, чем государство «христианское», также пока не существующее. Я уже много лет назад отбросил географическую политическую мифологию. Потому что оказывается, что гораздо важнее время, а не место. Вы поймите, что вся эта классификация на Запад – Восток, Россию – не Россию была выдумана демагогами начала XIX века. Друзья, мы живем в начале XXI! И

количество самостоятельно мыслящих людей во всех «передовых» странах оказалось таким ничтожным, что эта мура собачья звучит до сих пор. Что касается вариативности, то без нее вообще невозможна интерпретация никакого отношения самой абсолютной политической власти к реальному положению вещей. Вариативность есть, но эта вариативность в принципе определяется данной страной, данным этносом и данной религией только в той степени, в какой они уже стали временными вариациями политической рефлексии. Когда мои коллеги-востоковеды заявили, что иранская революция отражает какие-то архаические пласты мышления иранца, которые могут возводиться к шахам первого тысячелетия нашей эры, – это же общая фраза. Я могу сказать: «Друзья, а вот ваше мышление об этом, оно прямо возводится к архаическим процессам, которые русская интеллигенция конца XIX и начала XX века, от Леонтьева до Трубецких и после, считала чем-то феноменально значимым, специфически русским. И которые оказались в конце концов опять-таки в цепи вариаций философской рефлексии лишь одним из звеньев», Но, в конце концов, любые принципиальные различия между странами, между народами, между языками являются признаками неразвитого архаического мышления. Помню, как один замечательный русский ученый – когда я говорю «русский», я всегда имею в виду Россию, вне зависимости от конкретного этноса, в данном случае это был армянин – сказал: «А вот эту мысль можно выразить хорошо только на русском языке». А я не вытерпел, сказал: «А сколько языков ты знаешь? Пробовал ты выразить эту мысль на своем собственном, армянском?». Увы, армянского он не знал. В таких случаях, Мераб покойный ругался и говорил: «Тогда, рыло, выучи латынь и выражай мысль на латыни». Любые высказывания такого рода в конкретных случаях оборачиваются каким-то интеллектуальным бессилием. Физики первыми отказались от этой исторической пошлости, введя ряд важнейших дополнительных понятий, таких как, допустим, сингулярность явления. Но я сейчас не полемизирую, единственная вещь, за которую я воюю, это язык просто, в нашем случае русский. Наша рефлексия прежде всего должна быть обращена на язык, который нам кажется само собой разумеющимся, природно данным. Ни один культурный, хороший язык сам себя не понимает, над ним надо постоянно работать. Да я сам настолько привык употреблять какие-то слова и выражения, что перестал замечать, что некоторые из них чушь.

Первым человеком, который поднял этот вопрос, был, увы, покойный, Сергей Сергеевич Аверинцев, который говорил: «Меня мой друг, – а этим другом таки оказался недавно умерший другой гениальный человек – Михаил Леонович Гаспаров, – спросил, почему такими великолепными в России прозаиками и драматургами и поэтами оказываются инородцы?». Аверинцев говорит: «Почему в России? А возьмите историю французской литературы, историю американской, английской. Потому что инородец имеет то огромное преимущество, что русский (английский, шведский) ему не дан, как свое, поэтому он его волей-неволей начинает вторично интерпретировать, и с самого начала его русский язык может оказаться богаче в результате этой вторичной интерпретации».

Это неисчерпаемая тема, по которой можно было бы прочесть очень интересную лекцию. Потому что на поверхности изведанных нами политических ситуаций, включая нынешнюю, никакие два феномена не оказываются в таком зримом, иногда зримом до парадоксальности отношении, как язык и политика.

Каким образом мальчишка Вампилов, окончив сибирскую бурятскую школу, оказался гениальным русским драматургом, лучшим? То есть если сравнить всеми хвалимого Булгакова с Вампиловым, то Булгаков – это явление культуры, а Вампилов – это блестящая драматургия. Почему? Потому что для него русский был новым объектом. А ведь к новому объекту тыходишь совсем иным образом. Любая новизна объекта тебе дает огромное преимущество. Ну, разумеется, речь идет не о сравнениях, кто лучше, а кто хуже понимал язык. Вы знаете, если бы в сегодняшней Англии культурного англичанина спросили, есть ли в истории английской литературы, поэзии и драматургии хоть один талантливый человек, который не был бы хоть на четверть ирландцем, он скажет, что, конечно, нет.

ВОПРОС: А Конрад?

Конрад – это особый случай, это случай изначально литературного гения, который на самом деле, как он сам говорил, очень много выиграл от того, что был инородцем поляком. Но, понимаете, до сих пор лишь вульгарно рефлексруемая, роль этноса в культуре показывает механизмы такой тонкости, говорить о которых огульно невозможно. Опять же потому, что мы будем иметь дело с вариативностью,

не в виде «да» и «нет», а в виде «больше» и «меньше», чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. Вы знаете, это действительно очень и очень интересный момент. Причем момент, находящий свое наиболее четкое отражение в политической рефлексии. Вот каким образом в нее вплетается этнос. А он вплетается не всегда, но когда он вплетается, то становится уже отдельным объектом, который как бы выделяется, анализируется и к которому производятся дальнейшие редукции. Но почему я негативно осторожен в отношении к таким редукциям? Потому что это всегда слишком зыбко и может через два дня оказаться полной неправдой. В особенности следует быть осторожным в оценке своей собственной культуры в ее отношении к сегодняшней политической ситуации.

Я ругал своих студентов, когда они оперировали словами «подъем», «расцвет», «застой», уже давно укоренившимися. Тут нужно не образование, здесь нужен ум. Нормальный человеческий ум. Гиббон, написавший «Величие и упадок Рима», писал: «Книга моя называется «Величие и упадок», но я это говорю из Великобритании XVIII века. А спросите романизованного культурного галла, который это наблюдал из Лиона II или III века, который присутствовал при величии, и он вам напишет совершенно другую картину». Потому что все это – оперирование сверхсинтетическими понятиями, которые чрезвычайно благоприятствуют полному отсутствию мышления при оперировании ими.

АБСОЛЮТНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
И ВОЗМОЖНЫЕ ЗАМЕЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ.
КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА

15 февраля 2006 года,
Александр Хаус,
конференц-зал «Европа»

ПЛАН ЛЕКЦИИ

(0) Параметры политической власти.

(1) Онтологические и методологические черты абсолютной политической власти как основного, а возможно, и исходного понятия в политической рефлексии.

(2) Операциональное определение политической власти; «воля» и «действие» как непсихологические понятия в контексте определения политической власти.

(3) Абсолютная политическая власть как миф или иллюзия политической рефлексии.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Эксперты – абсолютная политическая власть – абсолютная воля – абсолютное знание, герметичность знания – тождество мышления субъекта и объекта абсолютной политической власти – снижение энергетики политической рефлексии – самофальсификация власти, трансформация исторической памяти – два метода построения мифа – что можно считать объективным – события, проблематизировавшие абсолютную власть.

Дамы и господа! Я начну с небольшого повторения из предыдущих лекций. Объектом политической философии является не политика. Это для политиков объектом их философии или ее отсутствия является политика, а для меня политика существует только как политическое мышление разных людей. И вне политического мышления никакой политики на самом деле не существует. И без этого мышления не

было бы и этого убийства, о котором мы говорим высокопарно: политическое убийство.

Я должен перед вами заранее извиниться, перед дамами в особенности: я не гуманист, нет, во имя гуманизма было убито слишком много людей. Я антигуманист. Вас это шокирует? Если очень – приношу свои извинения.

Вернемся к отличию политической философии от нормальной политической рефлексии: Хозе перерезали горло, потому что это политика; Тони Блэр врет, потому что это политика. И если вы попытаете возразить: «Да нет, глава государства врет, потому что у него природа такая, вран» – то это уже не важно, природа уже давно включена в политику, природа уже давно опосредована вульгарной политической рефлексией. И эта рефлексия опосредовала бездну слов естественного языка: «нравственность», «честь», а главное «ум» и «глупость», – это все уже не имеет никакого значения. Имеет значение то, что это уже фигурирует в контексте политической рефлексии, которую политический философ избрал объектом своего исследования. Но как на это смотрит философ? Ответ: как наблюдатель. Значит, он должен – если он философ, а не дерьмо, – он должен каждый вульгарный термин любого уровня политической рефлексии вторично отрефлексировать как понятие и проанализировать. А что значит – проанализировать политическую рефлексия, прежде всего свою собственную? Вот тут я заодно с Георгом Фридрихом Вильгельмом Гегелем – хотя не люблю я этого философа. Он говорит: «Проанализировать – значит отменить». Вы говорите, что вот так и так шли ходы мышления этого человека, который сказал, что бедного Хозе у Маркеса «зарезали по политике», или что Тони Блэр «врет как политик».

Я думаю, что сама свобода реализуется в полном освобождении, только не от служб безопасности и не от карательных органов, а от шаблонов вульгарного политического мышления, из которого 90 процентов «политически мыслящего» населения не может выйти.

Вот смотрите: каким тоном я говорю о нормальном политическом думаний? В этом тоне есть отрицание, в этом тоне есть презрение – а это плохо. Философ ничего не должен отрицать, ничего не должен презирать, или он не настоящий философ. Но все-таки философ-то остается просто человеком – дамы, извините, – то есть просто

идиотом. Потому что человек не думает – это уже *homo sapiens erectus*, простите за выражение, но он и *sapiens* только тогда, когда без этого не обойтись, когда уже нет выхода: надо *sapere* (лат. – понимать), надо уже, на вульгарной латыни, *meditare* (лат. – размышлять), *pensare* (лат. – думать) и все прочее. А ведь что говорит нормальный человек, читая газеты: «Ах, какой ужас, дорогая» – это что, думание, по-нашему? Здесь нужен холодный – без всяких «дорогая», без всяких ужасов – анализ тех понятий и терминов, которые (включая «ужас») этот человек употребляет и которые он употреблял раньше, и которые он будет употреблять. И на самом деле в каком-то смысле смена этих терминов в политической рефлексии и есть та трансформация, которая иногда приводит – к чему? – к революции. Тоже не сахар, уверяю вас.

Философ – это омерзительный внешний наблюдатель. Или, как говорил мой друг и в каком-то смысле учитель, покойный Мераб Константинович Мамардашвили, «философ – это шпион, который наблюдает за тем, как ты, они, вы думаете». Потому что факты своего мышления вы сами просто так не осознаете.

Хорошо, переходим к следующему, опять же предварительному пункту. Есть еще, кроме политической рефлексии, кроме наблюдения философа, одна страшно неприятная вещь – знание. Что такое знание? Разговаривая с вами сегодня, я смотрю из сегодняшней минуты, в данный момент, мне и не важно, как из своей минуты когда-то говорили об этих вещах Кант, Беркли и даже мой любимый Аристотель в трактате «О политике» (фактически, конечно, недоделанном) или Платон в «Государстве». То есть дело не в том, что я говорю о современных вещах, а в том, что я смотрю из современности на эти вещи, будь они современные мне или современные Аристотелю. И в этом смысле, переходя к знанию, я хочу перейти к понятию, в которое политическое знание сейчас трансформировалось, – экспертиза. Разве сейчас есть знатоки, специалисты? Сейчас есть эксперты (не преувеличивайте мою насмешку, это ведь насмешка вперемешку со слезами). А что значит – «эксперт»? Пардон, что значит – «эксперт по Южной Африке»? Вы, может быть, наивно думаете, что это человек, который в России лучше всех знает Южную Африку? Да ни черта такой человек не знает! Это человек, который лучше всех знает, что мне, власти, нужно знать о Южной Африке, что я, власть, хочу – в этом смысл понятия

«экспертиза». Но для этого надо, конечно, кое-что знать о Южной Африке, без этого опыта никуда не денешься. Но все-таки это особая область человеческого действия.

Конечно, бывает очень много неудач – и у власти, которая использует экспертов, и у самих экспертов. Я полжизни проработал в московском Институте востоковедения и помню, как ученый секретарь нашего института, крупнейший специалист по Афганистану, накануне блестящей экспедиции «ограниченного контингента» войск в Афганистан был назначен экспертом ЦК по Афганистану. И моя первая реакция была: господи, наконец-то выбрали специалиста, не говоря уже о том, что он полиглот, знал пушту плюс классический персидский, урду – способный человек. И он, увидев настроения людей, которые его пригласили в качестве эксперта, сказал: «Введение войск в Афганистан не только абсолютно необходимо, но и именно сейчас». Как потом выяснилось, это был день и час, наименее удобный для советского правительства (по мнению американских экспертов). Значит – что? Знаток-то он был прекрасный, а эксперт – плохой. Присутствовавшая при последующей беседе очень интеллигентная дама сказала: «Так ведь он был глубоко безнравственный человек!». А глубоко нравственный человек ничего не знал об Афганистане, а если бы и знал, его не пригласили бы в эксперты.

Я уже не буду говорить о последней катастрофе экспертизы – простите, что я отвлекаюсь от нашей Родины вечной, – это эксперты, приглашенные Госдепартаментом, им Ираку. Они предоставили такую экспертизу по Ираку, которая с точки зрения любого скромного востоковеда, занимающегося Ираком, была бы полной чушью – а ведь тоже были специалисты. И это называется политическая экспертиза. И вот это очень интересный момент, потому что эксперт, политический эксперт, должен прежде всего знать то, что нужно человеку, которому нужна его экспертиза, то есть человеку власти. Истина не интересует людей власти.

Отсюда я вовсе не делаю вывода, что экспертам нельзя верить. Простите, кто был главным экспертом Рузвельта по атомной бомбе? Альберт Эйнштейн. А уж ему можно было верить, хотя он никогда ничем подобным в жизни не занимался – но отвечал, и отвечал правильно. И если бы он был специалистом по Афганистану или по Ираку, бедный Альберт Эйнштейн, он тоже бы ответил реально. Но это была бы

совершенно другая политическая ситуация. Почему? Потому что сейчас никакой Буш никогда бы не пригласил никакого Эйнштейна. Вы понимаете, сейчас политическая ситуация знания безумно синтетична, и Эйнштейны там не нужны. А в 39-м еще были нужны. Политик, человек власти заинтересован только в том, что ему нужно, и не надо его за это ругать. Это опять будет интеллигентской пошлостью, у него такая профессия. А у экспертов профессия – экспертировать для власти, а профессия интеллигентов России и Америки – негодовать и возмущаться властью. А потом, когда придет время, к этой же власти блестяще приспособляться.

Я хочу привести второй пример: бывают ли в этом смысле – в смысле политического знания – абсолютно честные, знающие люди, которые не хотят служить власти? Опять же, не хотят – это политическая позиция, они уже тоже в политике. Не хотят служить этой – значит, какой-то другой могут служить. Опять из моих воспоминаний, но уже из английского прошлого: через две двери от меня на том же факультете истории работал замечательный специалист по Камбодже. Помните, такая страна была, коммунистический диктатор которой Пол Пот, пожалуй, в процентном отношении поставил рекорд – а ведь надо каждому честно отдавать должное, – уничтожив примерно 30 процентов своего населения из самых, уверяю вас, лучших побуждений. Мой коллега знал и кхмерский язык, и древний кхмерский, и все храмы знаменитые камбоджийских буддистских комплексов, и буддизм, он был убежденным честным интеллигентом и, заметьте, еще не экспертом – тогда еще не наступила эпоха экспертизы. Я помню, он в своей комнате повесил плакат: «Да здравствует Пол Пот! Долой американский империализм и их британских сообщников!». Более того, ко мне он относился очень плохо, переживал, не являюсь ли я агентом, подосланным Брежневым для раскола в международном рабочем движении. Потому что Брежнева они все считали предателем революционного движения, оставались еще такие люди. Чудный был человек, профессор, выпустил много книг – Малколм Колдуэлл. Так вот он не выдержал и поехал в Пном-Пень навестить Пол Пота (давно не виделись), где его и пристрелили в баре в первый же вечер. Кто пристрелил – никто не знает. А это политика? Политика. Вьетнамцы заявили, что его пристрелили сторонники Пол Пота, боявшиеся усиления влияния Малколма Колдуэлла на Пол Пота. А красные кхмеры заявляли, что это его

вьетнамские агенты пристрелили. Но это уже совершенно неинтересно, это уже не политика, это пошлость. Важно только то, что они его убили и он оставил шестерых детей, был верным марксистом и одновременно верным христианином, истовым англиканцем, ходил в церковь. Видите, сколько в человеке всего, но повторяю, это политика – в смысле моего вульгарного политического мышления, а не той философии, которая шпионски подсматривает из-за угла. Хорошо, ладно, потешил людей, чтобы дать им начальную интуицию политического. Однако с точки зрения «подсматривающего из-за угла» или наблюдающего извне философа нарисованный выше эскиз может произвести впечатление бреда или мистификации. Начнем с последней. В данный момент все более или менее политически рефлектирующие люди оказались включенными в одну сферу информации, которая уже около 20 лет сама фигурирует как замкнутая политическая система, пока не допускающая корректировки извне. Некорректируемость этой сферы имеет своим прямым следствием накопление ошибок и неточностей в политической рефлексии и как конечный итог – ее фальсификацию. Но рано или поздно может возникнуть ситуация, когда степень фальсификации сделает невозможной саму политическую рефлексию и превратит последнюю в явный манифестируемый бред.

И все ж таки политическая рефлексия начинается со слов, пусть и не отрефлектированных: «демократия», «истинная демократия», «фашизм», «гуманизм» – всего этого набора слов, не имеющих реального политического содержания, да, впрочем, для философа и вообще никакого. Вся эта литература не просто употребляется в политической рефлексии – она ведь, в сущности, составляет ее фундамент. Пока в политической рефлексии употребляются эти слова, она будет себя снова и снова мистифицировать. А на самом-то деле, почему только власть может лгать? Потому что мы сами постоянно себя охмуряем и мистифицируем, вновь и вновь, в бесконечных повторениях употребляя те же самые понятия, термины и категории политической рефлексии, которую мы целиком разделяем с властью. Поэтому я думаю, что в области реальной, даже не буду прибавлять «бытовой», политической рефлексии мы рефлектируем как власть, будь она любимая или ненавидимая, это не имеет ни малейшего значения, мы думаем в тех же терминах.

Я недавно встречался со своими старыми друзьями, пережившими и террор, и свободу, и гласность, – их политическое мышление осталось там же: они не проанализировали ни одного термина, ни одного понятия в своей политической рефлексии. Замечательные люди, добрейшие, порядочнейшие, начитанные до отвращения, как и я – противно вспомнить. Но не научившиеся понимать самих себя. Их предметами были германская филология, английская филология, история философии, святоотеческие писания (они забыли, что святые отцы-то понимали себя отлично, а они – нет).

Но политический философ не только шпион, как об этом уже говорилось. Он, как и вообще любой настоящий философ, еще и диверсант, поскольку объективно познает свой объект – то есть их, вашу, свою, наконец, политическую рефлексию – как недействительное, мистифицированное и мистифицирующее. Этим он объективно же подрывает власть, любую власть, равно свою и чужую.

Все продолжается и все работает на самое страшное явление в человеческом мышлении – повторение. Повторение – страшнее преступления. Повторение – это значит, уже прошло время, уже много гениев, жирафов и львов родилось, а мы все повторяем и повторяем. В этом ужас мышления, не способного к саморефлексированию.

Отсюда же мое методологическое негодование, когда очередной интеллигент говорит, что «мы безвозвратно идем к сталинизму». Значит, он не понимает, что сталинизм есть категория историческая, как и гитлеризм. И когда он говорит, что мы идем назад к сталинизму – он сам мыслит в терминах политической рефлексии 30-х годов, когда он мыслить не мог, а сейчас может, да и писать думает, что может. Но ведь он-то остался там же, при той же политической рефлексии. Из этого бывают исключения, даже среди философов, которые отбрасывают стандартную, заклишированную, шаблонную терминологию и стараются просто думать. Среди политиков это вещь почти невероятная. Среди той феноменально паразитической среды сегодняшней политики, которую я называю «эксперты» (я уже не творю о «политтехнологах»), – тоже. Ведь паразиты же! Что значит паразиты? Паразит – это человек, не создающий ничего своего, а он должен создавать свое собственное мышление. Но не только эксперты, конечно, мне уже жалко стало бедных экспертов.

А чем лучше современные ученые, называющие себя политологами, чем они лучше? Они не способны в основном проанализировать двух фраз из своего политического словаря. Значит, все эти фразы останутся не демистифицированными. А с какой легкостью я объяснил все это двум шоферам в Москве – и ведь поняли великолепно! А почему? Не задурены! У них нет никакого рефлексивного багажа, поэтому они могут начинать с нуля, а иногда это необходимо, хотя это страшная вещь – начинать с нуля. А ведь политологи до сих пор используют слова 40-х годов и не могут от них отойти ни на дюйм. Но учтите, человеческий идиотизм – я не мистик – тоже имеет предел.

Перейдем от понятия политической власти к понятию абсолютной политической власти. Что значит – абсолютная? Абсолютная политическая власть – это не только власть, которая всех абсолютно бьет по голове одной и той же лопатой, или кормит одним и тем же пряником, или грабит людей, или повышает их благосостояние. Абсолютная власть – это власть, которая уже утвердилась в вашей рефлексии как единственная. Она – эталон, лекало. Мы уже говорили про определение политической власти по Стенли Шехтеру, которое я принимаю не целиком, но все-таки: «Один человек реализует свою волю в отношении к третьему человеку, но делает это действие другой, «второй», так сказать, человек». Поэтому парень, который зарезал Хозе в баре, – не политик. А если бы этот парень позвонил Андреа и сказал: «Андреа, надо прирезать Хозе», – то это было бы началом микрополитики, потому что в этом случае происходит не только распределение воли в политическом действии, но в каком-то смысле и распределение рефлексии. Ведь если исполнитель спросит: «Слушай, а зачем его так?», то первый – заказчик – ответит двумя словами, являющимися пределом человеческого идиотизма: «Так надо». Или, как скажет старик, глава мафии из фильма «Крестный отец» (с моей точки зрения, не гениальный фильм): «Это бизнес, ничего, старик, личного, хотел убить и врал, что не хочет». Все это чушь, бесконечные фразы и бесконечный самообман. Я думаю, что «Крестный отец» – это апофеоз политического (не экономического же!) самоотупления второй половины XX века. Самоотупления писателей, артистов, зрителей, читателей. Все в восторге. Теперь все знают, что когда их будут душить в автомобилях или стрелять на ступенях их собственных офисов, то

это будет иметь и каком-то объективный смысл – «Ничего личного». Так ведь полное же вранье!

Когда в науке «История» появляется человек, который вдруг пытается мыслить о политике как исторический наблюдатель, – это вызывает у нас изумление, как, например, Гефтер. Он по профессии был историком России, но он наблюдал современность из современности, будучи русским историком. У него была тяжелая жизнь, хотя ему все-таки повезло, потому что он сумел выбраться из страшной трясины повторений – главного врага нормального мышления.

Что является признаками абсолютной политической власти? Я сейчас уже говорю не о политической власти, а об абсолютной политической власти, только с точки зрения, с которой мы сейчас оказываемся способными судить о любой политической власти, отталкиваясь от ее абсолюта. Первым признаком абсолютной политической власти является то, что политическая рефлексия приписывает субъекту абсолютной политической власти абсолютную волю. С этой точки зрения его собственная воля, продавай он пиво или автомобили, или самолеты, или атомные бомбы, – всегда будет фигурировать как относительная воля, относительная в отношении к воле субъекта абсолютной политической власти. Теперь переходим к вопросу о знании.

Кажется, Гераклит говорил, что «многознание уму не научает».

Второй признак абсолютной политической власти – это то, что политическая рефлексия, чья угодно, приписывает ей абсолютное знание. Знание всего! При этом носитель политической власти может быть полным дегенератом, как Нерон или Калигула, или полным шарлатаном, как первый корейский деспот Ким Ир Сен. Это не важно, потому что ему уже приписана абсолютная воля, только в отношении к которой и в дополнение к которой рефлексировается его знание.

Что значит «абсолютное знание»? Это трудно понять. Хотя очень просто на самом деле: во-первых, это знание, которое не может быть заменено никаким другим знанием, даже если другое – больше, глубже. Иначе все абсолютно теряет свой смысл. «Это, а не другое» – в этих простых словах суммируется эта черта, так же как и воля – «эта, а не другая». Так и абсолютное знание. А что если знание ошибочно? Тогда в силу принципа абсолютной политической власти это знание

самокорректируется, а если совсем никуда не годится, то ничего, мы его как-нибудь подправим. Или, как у нас раньше: меняем курс. То есть важно только то, что никто другой в это дело вмешиваться не может.

Это все делается самой властью. Можно, разумеется, нагнать кучу экспертов по Афганистану или по Северному Кавказу, по исламу, по добыче никеля, по еще каким-нибудь крайне необходимым для власти в данный момент предметам, но этим знание только самокорректируется – это знание не корректируется со стороны, в этом его абсолют.

И, наконец, любая политическая рефлексия – нормальная, ваша, моя, рефлексия жертвы политической власти, рефлексия исполнителя политической власти, рефлексия восторженного поклонника абсолютной политической власти, рефлексия критика политической власти – в равной мере приписывает этому знанию герметичность. Да, оно абсолютно правильное, оно одно, но, как мы уже сказали, оно не терпит вмешательства, оно герметично по определению. И эта герметичность – очень яркая феноменологическая черта абсолютного знания субъекта. И вы знаете, что является пределом любой герметичности? Да то, что сам субъект знания уже не знает – знает он или не знает.

Меня давно привлекало сопоставление двух примеров абсолютной политической власти – только я говорю о политической власти, а не о государстве, это совершенно разные вещи. Я думаю, что самой яркой параллелью к сталинизму как форме власти является правление первого Цезаря после Юлия Цезаря, Августа Октавиана. Тут, слава богу, есть исторические свидетельства: последние полгода его власти был просто кошмар, он уже сам не знал, что он знает. Он метался по комнате, как сумасшедший, и доносились его крики: «Дурак! Я же тебе говорил, ты же знаешь!» Но опять-таки, кроме них-то никто ничего не знал, был полный герметизм знания. А ведь это страшно, полный герметизм знания феноменологически приводит к тому, что и сам субъект знания его не знает, это приводит к кошмару и истерике. Или, скажем так, приводит к коллективному неврозу (не хочу затрагивать память великого шарлатана новейшего времени Зигмунда Фрейда): если они не знают, то кто знает? Знают-то только они. И отсюда этот страшный, идиотский термин – «они». Вот сидят замечательные русские интеллигенты на кухне и говорят: «Что они там

еще выдумали?». Ведь мышление не является профессией интеллигента, ни в коем случае. Он талантливый физик, химик, ботаник, «князь Федор, мой племянник», как у Грибоедова, но он не занимается мышлением. И тогда следующий шаг: «А что нам тогда делать?». И философ говорит: «То, чего ты никогда не делал – подумай». Но если бы вы знали, как это страшно – подумать.

Значит, со знанием все в порядке, оно абсолютно и герметично (только «они» знают, только фюрер знает, только Государственный департамент – это логово шарлатанов в смысле теоретических идей, которые они излагали, так ведь нет власти без логова шарлатанов). Но мы возвращаемся сейчас к мышлению. Постарайтесь понять это чисто феноменологическое определение: абсолютная политическая власть сводится к абсолютной тождественности мышления – не знания, мышления – объекта политической власти (то есть народа) и субъекта. Если бы мышление подданных советской власти в 30-е годы не было абсолютно тождественным – я повторю, не знание, не путайте, ради бога, и не философская рефлексия, она там и не ночевала, а мышление – мышление верха и низа не было абсолютно тождественным, в терминах положительных или отрицательных, в терминах любви или ненависти (не важно), то не было бы ни коллективизации, ни процессов 30-х годов, ни последующих чисток. Потому что люди, сидевшие в зале процессов, мыслили так же, как те, которые их пытали в застенках, а потом приказывали их расстреливать. Без этого абсолютная политическая власть невысказима – тождество мышления.

Даже употребляя такие гнусные термины, как «задача», я исхожу из некоторой чисто философской позиции. Разумеется, субъект политической власти, коллективный или индивидуальный, может сказать: «Врете все, никогда такой задачи у меня не было». Прекрасно, но он же исходит из своей политической рефлексии, а я исхожу из ее анализа с точки зрения наблюдателя-шпиона-философа.

Что здесь очень важно, говоря об абсолютной политической власти: абсолютная политическая власть не только разделяет и унифицирует политическую рефлексия, но в отличие от других форм власти, абсолютная политическая власть может оставаться абсолютной, только постоянно трансформируя ту политическую рефлексия, которая у нее и у народа как бы одинакова – поэтому она и абсолютная. Любое застревание на данной фазе политической рефлексии является угрозой

абсолютной политической власти. Почему угрозой? Потому что вырабатываются критерии, и если нормальный человек, такой как маляр, шофер, учитель средней школы или командир корпуса, вдруг говорит: «А что это у них вдруг не так стало думаться? Ведь еще позавчера договорились, что народ и партия – едины. А сегодня вдруг в газете какая-то странная статья». Вы понимаете? Ведь каждый феномен сознания, каждый феномен человеческого мышления без этого непонимаем, он двусмыслен – он хорош и плох, он ложь и правда. И в этом смысле абсолютная политическая власть как один субъект, если власть единоличная, или как 13,15 субъектов должна всегда трансформировать политическую рефлексию.

Хочу вам дать почти идеальный пример (снова повторяю, не путайте политическую власть с государством – иначе ничего не будет понято. Я говорю только про политическую власть). Великий учитель всех времен и народов – Мао Цзэдун – человек настолько ошеломительно, всеподавляюще серьезный, что его и шарлатаном не назовешь. Вообще единоличный субъект абсолютной политической власти, за редкими исключениями, шарлатаном быть не может. Что же он делает? Мао Цзэдун менял принципы и каноны политической власти шесть раз – если считать его абсолютную политическую власть условно с 1944 года до его смерти (за этот же период Жан Поль Сартр менял свои принципы – заметьте, до конца оставаясь принципиальным, – только четыре раза). Менял коренные, фундаментальные установки! Так ведь и люди реальной политической рефлексии – шоферы, строители, кочегары и командиры корпусов – они должны были ее менять немедленно. Мы все настолько заиклены на Сталине, что забываем, что по изощренности, по насквозь, детальной продуманности Мао Цзэдун Иосифа Виссарионовича иногда оставлял позади, и сильно позади. Мао в своей речи говорит: «Мы тут собрались» – сталинская формулировка, что на самом деле означало «я собрал», «я собрался». «Мы тут собрались и решили внести некоторые изменения в нашу программу». И оказывается, что это – необходимость трансформации. Одним из главных элементов трансформации в политической рефлексии, которую производит абсолютная власть, является «об этом забудьте».

– Так как же, великий вождь? Да ты 16 января только, пять недель назад, говорил: «Это самое главное».

– А нет, «об этом забудьте».

То есть происходит интереснейшая вещь, свойственная любой абсолютной политической власти, – самофальсификация, неразрывно связанная с фальсификацией истории. Мы говорим, что сталинизм фальсифицировал историю. Но это частный случай, главное, что он постоянно фальсифицировал сам себя. А что такое история? Вчерашний день – это история? Или 28-й год, начало сталинского тоталитаризма – это история? Или Ключевский – это история? Или Карамзин? Оказывается, что речь идет не просто об истории. На каждом шагу изменений в политической рефлексии абсолютная власть нейтрализует историческую память. Тут мы встречаемся с так называемыми перекосами – очень люблю эту терминологию 20-х годов. Пожалуй, одним из самых больших перекосов был историк Покровский. Прочтя его, покойный Иосиф Виссарионович сказал: «Ну, это уже слишком!». Между прочим, что самое интересное, когда Сталин во время войны в 40-е годы начинает реконструировать историю, буквально на каждом шагу следуя Покровскому, он говорит: «Некоторые фальсификаторы истории, такие как Покровский». Вы помните, Гефтер говорит об «переинтерпретациях»: происходит санация постоянных трансформаций исторической памяти, которая превращается в беспмятство, то есть вы уже разобраться решительно ни в чем не можете, вам становится чрезвычайно трудно следить за этим. А, между прочим, вас никто и не просит за этим следить, это не ваше дело, вы делаете свою работу – и скорее забываете. Это принципиальное отрицание памяти.

Три фразы из личных воспоминаний. Был в Москве замечательный мыслитель, фамилию и имя которого давно забыли, Андрей Дмитриев, который забыт моментально, как вообще в России интересных людей забывают. Он сказал: «А ведь ты знаешь, ведь когда они (опять «они», они – это не мы, а власть) говорят, что история убыстрила свой ход, это, конечно, чушь, но это имеет и некоторую феноменологическую основу» (Андрей был великим знатоком Гуссерля). Это значит, что не может абсолютная власть существовать без быстрой смены поколений. «Скорее», одно прошло – «скорее»! Половина убита в 30-х, половина на войне – скорее, скорее. В этом не только живодерство (дамы и господа, «живодерство» – это не термин политической философии), в этом сознательное стремление каждый раз

иметь дело с новыми людьми. Но вы понимаете, человек – это существо невероятно двусмысленное, а человеческое мышление – это самое двусмысленное в человеке. А историческое мышление – это самое двусмысленное в мышлении. И потому на некоторых витках, в некоторых фазах развития абсолютной политической власти оно становится невыгодным, возникает необходимость внести «новую ясность».

Первый сигнал к остановке в отношении к истории был дан уже в 1942 году, во время войны. Была русская история, и была славная военная русская история. Значит, «давайте остановимся»? И мы не просто побеждали, а есть традиция победы, которая идет еще от Ермака и от основателя русской крепостной артиллерии Малюты Скуратова – он первый организовал крепостную артиллерию при Иване. «Нет, неправильно, надо различать!» – и появилась новая концепция исторических предшественников. «Надо помнить!» – кого: Петра Первого и Ивана Грозного. И тут, конечно, немедленно к услугам один из несчастных кретинов русской и мировой кинематографии – Сергей Эйзенштейн, который думал, что это он выдумал оригинальную концепцию фильма «Иван Грозный». Вы знаете, когда я ругаюсь, я имею в виду только одно: какие талантливые были люди, но не думали – думать тяжело.

Я помню, как я смотрел фильм «Иван Грозный» с одним режиссером, и вдруг он изумленно мне сказал: «Послушай, что они все с ума сходят, это просто плохая кинематография». Да разве вас не убил бы любой русский интеллигент, если бы при нем сказали, что Эйзенштейн – это плохая кинематография? А вообще кинематография-то на самом деле средняя – слегка экспериментаторская, но средняя, слабый рефлекс авангардизма «Броненосца». Но важно то, что он попал в самый фокус трансформации, предложенной абсолютной политической властью.

Мы имеем дело с еще одной интереснейшей чертой. Кроме истории, которая трансформируется вместе с мыслящей о ней политической рефлексией, рефлексии необходимо постоянное воспроизведение сегодняшнего синхронного для политической рефлексии мифа о себе. Ни одна абсолютная политическая власть без мифа жить не может. И вовсе не для того, чтобы так думали другие, народ (в их политической рефлексии). Это непростительное упрощение. Властители сами не могут без мифа о себе. Отсюда – трудность демистификации абсолютной

политической власти. Вам надо сначала демистифицировать принципы и категории политической рефлексии абсолютной политической власти, сказав, что это миф. Но, с другой стороны, дамы и господа, а почему мы только в каком-то негативном смысле употребляем слово «миф»? Для меня «миф» – это одна из исторических форм человеческого мышления. Это не хорошо и не плохо, это не ложь и не правда – это миф. Поэтому критиковать любую политическую концепцию как мифологическую – это еще не критика. Не говоря уже о том, что ты сам о ней знаешь только из мифа о ней, то есть сам становишься мифологичным. Вот это очень интересный момент. И я думаю, что этот момент у Сталина был, но с ним соперничал Мао, который неустанно создавал цикл легенд о себе и включал эти легенды в политическую рефлексию своих сограждан.

А что такое миф? Здесь мы имеем дело с абсолютистскими формами исторической мифологии, вырабатываемой и используемой абсолютной политической властью. Они как бы распадаются на две группы. А именно: первая группа исторических мифов, в основе которых лежит идея: «Так было всегда, а я выразитель этого сегодня». И вторая группа: «Так не было никогда, а я придумал это сегодня, и все начинается с меня». И это не просто два метода лжи и жульничества никогда 'так не говорите, это бездумье, – это два метода построения мифа: или я воплощаю в себе историю, которая имеет начало, или история с меня и начинается, я являюсь изначальной мифологической фигурой. Но помните, дамы и господа, что то, что мы называем мифом, не имеет начала, никогда не возникает. Мы всегда уже застаем миф готовым. Первая критика мифа, строго говоря, начинается с Платона, когда он говорит: «Вечность – это миф». Что Платон считал мифом? То, что имеет отношение к жизни богов, а не нас. У него, кстати, несколько совершенно гениальных объяснений и в «Симпозиуме», и в «Пире», и в «Государстве» – миф не возникает, мы его не делаем, мы его не творим, он есть. Теперь слушайте, тут трудно. Что значит «он есть», что такое «он»? Например, идея справедливости – это миф. Сам феномен мифа распространяется на то, что уже втянуто в сферу мышления, подлежащую мифологизации. Кстати, мифологизация играет здесь интереснейшую роль. Что мы наблюдаем сейчас? Оставим в стороне политику. Посмотрите, достаточно какому-нибудь яркому научному открытию просуществовать пару лет,

как из него вырастает миф, а миф не возникает, он всегда есть, он только ждет новой добычи. Ага, открытие гена? Ген как вечное вещество – новый миф. Дальше. Едва появились новые сообщения об изменении теории Эйнштейна и об открытии скоростей, превышающих скорость света, как немедленно это входит в облако мифа. А у мифа есть один оператор – «значит». Генное вещество вечно – значит, этот генотип через фенотип я несу в себе, это уже связано с какой-то первичной обусловленностью. Я недавно читал отчет об одной генетической конференции – категоричности оценки универсального определяющего значения генома могла бы сильно позавидовать древнеиндийская теория кармы и переселения душ. Я, с нашего любезного разрешения, философ и не говорю, что «о генах – это правильно, а о карме – неправильно». Я говорю просто – чтобы что-то знать, это сначала необходимо демифологизировать, то есть проанализировать как мысль или идею в ее действительности или возможности стать мифом. Когда я о чем-то говорю «да это – миф» – это и есть начало демифологизации, а не отрицание того, что названо мифом.

Ни одна абсолютная политическая власть не терпит демифологизации. А демифологизация производится спонтанно, как и мифологизация. Да, вы можете сказать: «Вы говорите о каких-то категориях мышления, политической рефлексии, но есть же живая политическая действительность, в которой вы живете». А ведь это – чистая демагогия. Любое слово в этой фразе уже принадлежит к вашей мифологизированной политической рефлексии. И в этом действительно трудность и сложность занятия политической философией. Смотрите, вся политика XX века пронизана четырьмя идеями: идеей абсолютной политической власти (любая характеристика любой политической власти дается только с точки зрения абсолютной), идеей абсолютной революции, идеей абсолютной войны и идеей абсолютного государства, о которой мы будем говорить на следующей лекции. Но это не значит, что эти четыре господствующие в любой политической рефлексии идеи так и сидят и регулируют каждое конкретное политическое действие – если бы это было так, то мы бы имели дело с объектом исследования, по простоте равным каким-нибудь червям или морским звездам. Но ведь на деле это не так. Оказывается, что наличие общей политической рефлексии ни в коей мере не может детерминировать конкретное политическое действие. Почему? Потому что в

действительности мы имеем дело с бесконечной вариативностью политических ситуаций.

Возьмем Париж, пик студенческих волнений, студенческой революции. Въезжаешь в квартал, над ним огромный плакат: «Этот квартал живет при коммунизме!». И что самое замечательное? Такого рода версией политической рефлексии были одинаково проникнуты и студенческие вожди, и крайние коммунисты (поэтому-то Советский Союз не только не поддерживал студентов, а с ними боролся). И вот эти ребята-студенты, начиненные так, что из ноздрей лезет Троцкий и Маркузе (у меня в Лондонском университете появился новый герой студентов в 1975 году – Нестор Иванович Махно: висел портрет Махно как единственного последовательного коммуниста). Студенты побеждают. Все – конец. Буржуа срочно эвакуируются на машинах и на электропоездах в далекую провинцию, ведь нормальный человек же, он не только не мыслитель, он еще и труслив. И вот, по имевшей тогда широкое хождение легендарной версии, встречается Дени Кон-Бендит, один из главных вожаков студентов, с префектом парижской полиции. Префект говорит: «Месье, вы серьезно собираетесь организовать новую форму правления? Вы знаете, мы думали всю ночь, мои коллеги решили отдать вам ключи от префектуры, я напишу циркуляр, и когда вы назначите своего префекта, вам будет подчиняться полиция». И вы знаете, что сказал Кон-Бендит: «Нет. Это категорически исключено, господин префект, мы не хотим брать власть в свои руки». Можете себе представить, какими глазами на него посмотрел бы Ленин, который с гораздо меньшими шансами в Петрограде 25-го – согласитесь, что у Ленина было гораздо меньше шансов, – взял власть в одну минуту. Что это значит? Это значит, что в то время, с одной стороны, политическая рефлексия префекта парижской полиции и главаря крайних ультрамарксистов была одной и той же, но, с другой же стороны, одной и той же была у того и другого отсутствующая политическая энергетика. То есть полными слабаками и импотентами оказались ультракоммунистические главари студентов, и полным трусом оказался префект. Но префекту все-таки более простительно, он все-таки служака, ему надо как-то договариваться, устраиваться. С точки зрения политической философии этот эпизод я назвал бы примером кризиса политической рефлексии. И в этом кризисе ни тот ни другой ничего сделать не могли.

Словом, никакой революции не было ни в Америке, ни в Париже, ни в Лондоне. Было просто хамство и безобразие, которое вполне может быть и в других политических ситуациях. То есть как бы не было ничего ярко специфического. И когда говорят: «революция провалилась» – это неправда, ее просто не было. Потому что с одной стороны были невежественные трусы, с другой стороны были самодовольные трусы, которые не знали, что делать. Иначе говоря, у обеих сторон было знание политических принципов и своих, и противников (да они одни и те же, только со знаком плюс и минус), а с другой стороны была полная неспособность понять действие инструментов и модальности политического процесса на тот момент.

А у меня на глазах в Колчестере в Англии студенты все-таки решили быть самыми смелыми и сожгли абсолютно безобидный деканат, но при этом очень неосмотрительно сожгли административный архив, где были все дела о выплате им студенческого пособия, и не получали полгода денег. Уверяю вас, было противно. Я не хочу при этом добавлять, что все были пьяны в дымину, эти ребята. Это, видимо, им не давала покоя посмертная слава Нестора Ивановича Махно.

Возвращение к конкретным формам абсолютной политической власти – это пугало интеллигенции, которая не понимает, что раз мышление изменилось, то надо сначала восстанавливать формы изменяемого мышления, что безумно трудно.

Я хочу заключить эту лекцию словами: «Тем не менее абсолютная государственная власть оказалась под угрозой объективного анализа». Что значит «объективного»? Всякий человек, который хочет сказать, что он говорит правду, а не врет как сивый мерин, говорит «я объективный». Не верьте, это страшное слово. Объективный – это просто внешняя точка зрения, когда предмет рассматривается образом, внешним самому предмету. Я думаю, что шесть событий XX века объективно поставили наличные политические власти мира второй половины XX века, перед очень серьезной проблемой: «То, как вы думаете о себе, господа, не годится, да не годится не методологически, а не годится фактически, в вашей реальной практической политике». Ответом, как всегда, было: «Но мы такого не ожидали» – это нормальный ответ дурака и труса. Я перечисляю эти шесть событий, которые поставили под вопрос саму идею абсолютной политической власти. Первое событие – американское поражение во Вьетнаме. Второе событие – конец

абсолютной политической власти маоистского режима в Камбодже. Третье – рестабиллизация постмаоистского политического режима в Китае. Четвертое событие – война Советского Союза в Афганистане. Пятое событие – революционный кризис в Польше. Шестое событие – мирное политическое урегулирование в главном очаге африканской революции, где все думали, что сейчас пух и перья полетят, – в Южной Африке. И эти шесть событий показали, что идея политической власти как абсолютной не просто перестает работать, она уже начинает проблематизироваться. Я назову и седьмой фактор, хотя я ждал, что кто-нибудь из вас мне его подскажет: бесславное окончание холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Или, если называть вещи своими именами, «to call a spade a spade», как говорят англичане (называй лопату лопатой), то это было поражение Советского Союза в холодной войне, которое было великолепно зафиксировано Михаилом Сергеевичем Горбачевым – тоже не гением – в серии его договоров с Америкой.

Что значит проблематизация? Проблематизация – это не значит выбрасывание за окно. Это значит – такое рассмотрение объекта политической рефлексии, которое ведет либо к новым альтернативам, либо к новым вариантам прежних альтернатив, либо, наконец, к радикальной смене объекта. Не беспокойтесь, будет вам политическая власть, но вернуться к политической рефлексии, исходящей из категории абсолютной политической власти, будет чрезвычайно трудно. Я вовсе вас не утешаю, это просто факт. Приведу пример: представьте себе спор жены и мужа – это бывает в реальной жизни, – спор вульгарный, как вульгарна ходовая, низовая политическая рефлексия.

– Знаешь, Петя, ты плохой муж.

– Знаешь, Варя, а ты плохая жена.

Так вот это – не проблематизация, это перепалка. А когда Петя вдруг говорит: «Послушай, а может быть, это дело вообще никуда не годится? Сам брак!» – тогда понятие плохого мужа и плохой жены или теряет свой смысл, или становится двусмысленным, не правда ли? Это я говорю не в порядке подрыва устоев брака, брак для меня священен. То есть люди пытаются мыслить в других терминах, отчего тот же самый объект оказывается нерелексируемым прежним образом, – это и есть проблематизация.

Очень интересно, но быстрее всего неизбежность проблематизации поняли не ученые, а журналисты. Особая категория людей, которых мы подозреваем сплошь и рядом в верхоглядстве, шарлатанстве и беспринципности. Но с начала XX века самые интересные политические диагнозы были сделаны не политиками, не учеными, а журналистами.

Это вызывает, разумеется, острую реакцию раздражения и ненависти, но ничего не поделаешь. Можно сто раз реформировать администрацию, назначать и увольнять идиотов-губернаторов (они, кстати, почти везде идиоты, во всем мире) или министров. Но попробуйте изменить политическое сознание! Я очень хорошо помню мою беседу с одним американским журналистом. Я его спросил, когда он дал мне прочитать свою блестящую статью:

– Скажи, пожалуйста, а твоя газета это решится напечатать? Он на меня посмотрел и говорит:

– Ты знаешь, честно говоря, я не помню, в какую газету это пойдет. Я пишу по ночам и обыкновенно полупьяный.

Это ведь очень интересный момент. Вы можете себе представить русского журналиста, который не помнит, в какую газету пойдет его статья, будь пьяный он или трезвый. Заметьте, этот краткий диалог был чисто политическим: он не помнит, кто им правит в данный момент. Если у нынешнего шотландца, жителя Глазго, спросить:

– Кстати, а кто сейчас является министром обороны Великобритании?

Он скажет:

– Старик, ты с ума сошел! Да мы это вообще не знаем, зачем нам это все нужно?

Ведь согласитесь, что это не борьба с министерством обороны и с правительством, а ближайший результат проблематизации. А почему вообще нормальный человек, если он занимается своим делом, читает лекции, разводит сахарную свеклу, чинит автомашину – почему он должен знать, кто им правит? А в режиме абсолютной политической власти невозможно, чтобы ты этого не знал. И когда человек вдруг говорит: «Прости, старик, ну ей-богу, не знаю этого» – здесь все

начинает кончаться, а не на демонстрациях на улице, потому что это уже касается обиходной, низовой политической рефлексии.

АБСОЛЮТНОЕ ГОСУДАРСТВО
И ЕГО ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
В СВЕТЕ ПЕРСПЕКТИВ «ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

*18 и 20 февраля 2006 года,
Александр Хаус,
конференц-зал «Европа»*

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

(0) Борьба центристических и центробежных тенденций в современной политической рефлексии как решающий фактор проблематизации абсолютного государства.

(1) Версии и вариации в понимании государства как наиболее стойкого понятия политической рефлексии.

(2) Тоталитарное государство как крайняя или предельная форма государственности.

(3) Конец тоталитаризма как фактор проблематизации не только понятия абсолютного государства, но и понятия государства вообще.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ЛЕКЦИИ

ЧАСТЬ 1

«Эпос о Гильгамеше», феномен стены – проблематизация политической власти – идеал сильного государства – абсолютное государство как идея – создание империи.

ЧАСТЬ 2

Антитезы абсолютного государства: 1. интенсивность («политика – это все»), 2. экстенсивность – абсолютизм и тоталитаризм (Адольф Гитлер и Сталин) – перечисление тоталитарных режимов.

Вопросы.

ЧАСТЬ 1

В начале лекции вернемся к политической власти, хотя тема лекции сегодня государство. Умоляю вас, никогда эти две вещи не путайте, они составляют разные измерения политической рефлексии. И хочу сделать одну банальную оговорку: не только абстрактные понятия, которыми мы пользуемся в политической рефлексии (такие как политическая власть, абсолютное государство), но сам феномен политической рефлексии – вещь историческая. То есть если вы меня спросите, не вечная ли она, эта политическая рефлексия, о которой я долдоню, то я скажу: «Нет, она историческая, мы имеем дело с историей». Поэтому, если вы меня спросите: «А не имеем ли мы дело с чем-нибудь имманентным человеческому бытию или человеческой природе?» – я отвечаю: «Не знаю, меня это не интересует, а звучит это философски пошло». Поэтому политическая рефлексия исторична. То есть было время, когда ее не было, и будет время, когда ее не будет, да и сегодня она не вездесуща.

И последнее, что напоминаю: я говорю о политической рефлексии из сегодняшнего мира, из этого момента, и ничто другое меня не интересует. И я не могу говорить ни о чем не документированном, ни о чем не манифестированном устно или письменно. Откройте бессмертную книгу, которая содержит древнейший, по-видимому, в истории человечества исторический миф, древнее Древнего Египта, древнее Древнего Китая. Какую вы знаете древнюю культуру, в которой мы до сих пор живем? Культуру, в которой была выдумана письменность, одной из позднейших версий которой является кириллица, на которой мы пишем? Вспомнили, о какой культуре я говорю, дамы и господа? О шумерской культуре (шумерская культура восходит к IV тысячелетию до нашей эры, а теперь археология ясно показывает, что и к V, а может быть, даже и к концу VI, ничего древнее пока археологи не нашли). Это был удивительный маленький народец, взявшийся черт знает откуда и говоривший на языке, классификационно не связанном ни с одним другим языком.

Мой коллега из лондонского колледжа только недавно наконец восстановил древнейшую версию «Эпоса о Гильгамеше», все зубы себе на этом проел. Сейчас вы можете купить прекрасную книгу со старым русским переводом, который сделал еще Николай Степанович Гумилев со своим другом, великим русским востоковедом

Шелейко (с комментариями, со словарем). Я уже человек двадцать интеллигентов спрашивал – разумеется, никто не читает. Люди же читают в основном всякую ерунду собачью! А знаете, ведь это все правильно, я зря ругаюсь. Во все века и во всех странах надо было тыкать: «Смотри, какая книжка вышла».

И вот мы берем в руки древнейший эпос, который был отчасти историческим эпосом, – «Эпос о Гильгамеше». Юный Гильгамеш был властелином города Урука, одного из самых древних городов мира: по сравнению с этим городом древний Вавилон был новым, а о Иерусалиме, Афинах и Риме и говорить нечего. И в эпосе сказано: этот Гильгамеш делал в городе Уруке что хотел. Это идеально точная политическая формулировка. Гильгамеш поступил просто: недвусмысленно дал понять жрецам города (а сам он совмещал в себе две власти – воинскую власть, то есть власть человека, у которого была мощнейшая дружина, и жреческую власть), что «все девочки – мои». А ведь это не всем приятно, не всем отцам, не всем мужьям, не всем братьям. Начались маленькие коллизии. А его первым государственным мероприятием было то, что он обнес город Урук стеной. И когда его упрекали в том, что ведет он себя прескверно, он говорил: «Хорошо, а вы стену возвели? Нет. А я возвел». То есть более года заставлял население города трудиться над ее возведением. А что здесь стена? Он ведь ограничил мир физически. И он так сам это понимал. Он физически ограничил минимальную сферу своей политической власти. В общем, пожалуй, уже в соседних городах не все девочки были его и его дружинников: нельзя восстанавливать всех против себя, он это понимал очень хорошо и понимал, зачем стена. Городская стена здесь – феномен политический.

Да и сама эта моя лекция – политический феномен, неужели непонятно? То есть неизбежно затрагивающий вопросы онтологии власти и нашего политического бытия. Размышляя о политических феноменах как о феноменах политической рефлексии, мы, конечно, интеллектуально участвуем в политике.

И тут интересный момент политической рефлексии, Гильгамеш уже понимал, что политическая власть имеет два направления: одно – разбираться со своими дружинниками и со своими жрецами и совсем другое – разбираться с соседями. Между прочим, большинство городов и селений этой части мира не были обнесены стенами. А вы знаете, почему? Не было нужды. А некоторые продолжали оставаться

бесстенными тысячелетия. Здесь стена – это эпифеномен политической культуры. Так же как другим эпифеноменом другой великой политической культуры, но на две тысячи лет позже, была Великая Китайская стена, но уже построенная (когда Китай начинал ее строить, была совершенно четкая политическая цель – защищаться от северных варваров, в Уруке такой цели не было, тут мы имеем дело с тем, что некоторые ученые называют «протополисом»). Надо сказать, что и большинство древнеегипетских городов не знали стен. Я специально сказал о стене как о феномене, связанном с определенной исторической фазой политической рефлексии.

Теперь последний раз вернемся к концу моей прошлой лекции, когда я только начинал объяснять это странное омерзительное слово (потому что я предпочитаю всю жизнь обходиться нормальным русским языком, а не языком, искалеченным учеными и политиками) – «проблематизация». Ничего, это мы вынесем, вытянем на себе. И тогда я пытался вам объяснить, что проблематизация связана не с компрометацией политической власти, не с какими-то принципиальными этическими упреками в ее адрес. Проблематизация, в конечном счете, – это изменение установок политической рефлексии. Проблематизация возникает, когда появляется снижение энергетики политической рефлексии в отношении того или иного феномена, на который она направлена. Она возникает тогда, когда люди начинают пожимать плечами и говорят: «А может, это ерунда все, одни слова?».

Вообще не надо стыдиться никаких слов, они достаточно плохи сами по себе.

А может быть, мы просто непоправимо старомодны? (Представьте себе, мы можем прекрасно жить с тем, что какая-то литература старомодна, что какая-то одежда старомодна. Но говоря о центральных категориях политической рефлексии, мы этого допустить не можем: «Как! Политическая власть старомодна?». Дамы и господа – старомодна.) А что значит старомодна? Это значит – она не просто есть, над ней уже думают, ее проблематизируют, тем самым она теряет свою мыслительную актуальность. Это ведь когда-то Гегель – не последний был дурак – сказал, что всякая политическая власть имеет свою первую победу и терпит первое поражение в мышлении людей, а не на полях сражений. Мышление вдруг говорит: «А, да это так – исторический феномен». А само слово «исторический» – уже угроза, то есть было время, когда не было, и будет время, когда не будет. И установка на

абсолютную политическую власть, то есть ту, без которой невозможно, терпит полный внутренний крах. И тогда возникают альтернативы.

Все государственные учреждения – тупые. Никогда не считайте, что есть где-то страна, где такие умные ребята сидят в министерстве иностранных дел или еще в разведке – такой страны нет нигде: ни в каком государстве никакой департамент умным быть не может.

Есть несколько альтернатив, я укажу только на одну. Ее решил заприходовать первым, конечно, Госдепартамент, там есть, вы знаете, специальные люди, которые ловят все такое. Альтернатива такая: что может явиться понятием, замещающим политическую власть? Политическое влияние. Оказывается, можно что-то делать, не только властвуя, но и влияя разными способами. Я прежде всего имею в виду способы – еще один омерзительный, вульгарный термин – несиловые, потому что все силовые способы – это наследие прошлого, которое не было отрефлексовано. Есть еще способы экономические, они не самые сильные сейчас. Есть способы информационные, которые пока (не беспокойтесь, это тоже не навсегда) дают колоссальный эффект влияния. И, наконец, есть способы эстетические, не удивляйтесь. И вот сейчас, оказывается, надо подумать о власти влияния или гаммы влияний. Но заметьте, что при столкновении влияний репрезентируется мышление, по типу совершенно иное, чем то, с которым мы имели дело до этого, когда речь шла о власти.

Один из самых, я бы сказал, тяжелых элементов наследства прежних политических ситуаций в России, которые Россия не может изжить, – это идея, связанная с абсолютным государством: идея абсолютной централизации, «чтобы все было в Москве». Когда-то на такой же идее, только насчет Парижа, погорела французская политика. В Госдепартаменте, где тоже не Эйнштейны сидят, стали понимать: надо слушать, что говорят в штатах, о которых ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне, в общем-то, и не слыхивали – Айова, Миннесота, Юта. Оказывается, там ходят какие-то мальчишки и треплются. А вы знаете, этих мальчишек в Америке накапливается с 80-х годов все больше и больше.

Итак, на ходу небрежно проблематизировав политическую власть, перехожу к государству. Государство – это совершенно особое состояние политической

рефлексии, которое, оказывается, дает и давало гораздо более сильный мыслительный эффект, чем власть. Почему, собственно, вдруг появились десятки, сотни поколений людей с мышлением типа: «Ну да, власть приходит и уходит, но приходит и уходит она в государстве». Вы думаете, государство сделал юный распутник Гильгамеш, огородив сферу политической власти? Нет. Оно сделано прежде всего в нашем мышлении, как какое-то «естественное» пространство политической власти.

Противопоставление Европы и Азии, Запада и Востока – один из самых ярких случаев человеческого идиотизма. Как можно противопоставлять Запад Востоку, когда две культуры (я беру на выбор), древнеиндийская и древнекитайская, отличались друг от друга гораздо сильнее, чем вместе взятые от британской? Этот идиотизм нашел свое идеальное дополнение в совершенно шизофреническом делении мира на третий, развивающийся, четырехполовинный (без дробей тут не обойдешься) – это один из последних всплесков международного бюрократического мышления. А тут еще «большая восьмерка» – символ европейской политической иллюзии. Вы понимаете, что это средство околпачить среднего человека? Он верит во все, что обозначено словами, потому что он не рефлектирует.

В этом смысле политическая власть – в мышлении – может выступать как первичная. Это началось гораздо раньше XIX века, это началось с одной из ранних форм нашего европейского государства, не китайского и не ближневосточного. Все-таки, я думаю, спора не будет – мы в Европе живем. Как римляне называли Средиземное море? «Наше море». Греки, афиняне делили все острова на «наши» и «не наши». Так вот, определим государство как пространство политического действия, в частности, пространство политической власти, выработанное и вообще, и в конкретных случаях политической рефлексией человека. Возьмем IV век до нашей эры, когда один великий грек сказал еще молодому Александру Македонскому (если бы руководители государств были немножко пообразованнее, то они могли бы сослаться на этого грека, но они по традиции очаровательно не тронуты просвещением, невежественны): «Реальное государство – это сильное государство». Были полисы-острова, материковые полисы, греческие полисы Причерноморья, греческие полисы Малой Азии, и все-таки идеал государства оставался один и у

Диогена Лаэртского, и у Аристотеля, и у поздних стоиков: реальное государство – это сильное государство. Приятно звучит, да?

Мы должны подняться хоть на минимальный уровень рефлексии и понимать, что когда человек говорит «весь мир хочет» – то он либо жульничает за большие деньги, либо человек честный, но смертельно невежественный. Даже замечательный английский поэт Редьярд Киплинг, который написал стихи: «Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И пока светят луна и звезды, они останутся Западом и Востоком». Но тут же говорит: «Но есть рубеж, на котором Запад встречается с Востоком, и они – одно. Когда сильный с сильным лицом к лицу у края земли встают». Значит, всегда была сфера, где не было никакого ни Запада, ни Востока – это сфера силы и сфера ума.

Приведу один пример, что один раз сделало такое сильное государство, которое мы ассоциируем не только с Периклом, Алкивиадом и Аристидом, но и с Фидием, с великими художниками, скульпторами, поэтами. У Афин готовилась война с другим государством, тоже сильным, со Спартой, и вот в Афинах стали ходить слухи, что один остров, другой остров начинают вести переговоры со Спартой. Об этом в Афины донесли шпионы с этих островов (не те шпионы, которые сидят, смотрят и слушают, как я, а настоящие, которых в то время было полным-полно, это уже тогда было выгодной профессией). А за что острова любили Афины? Афины в годы неурожаев, неуловов подкармливали их и защищали – надо ведь держать соседей, а держать одним кнутом невозможно. И вот когда вдруг один остров начал колебаться, то афиняне напали на остров, вырезали всех до одного мужчин, способных носить оружие, всех детей и женщин продали в рабство, получив за это неплохие деньги, для чего были уже приглашены работорговцы из Малой Азии, и все дома сожгли. Все было очень четко. Комментируя это не очень, в общем, привлекательное для нас с вами событие, один грек сказал: «Что делать, мы должны быть сильны в грядущей войне со Спартой. Слушайте, что-то знакомое, правда? Резать, убивать, жечь – греки это умели делать очень квалифицированно, почти так же квалифицированно, как строить. И это – идеал сильного государства.

Гегель говорил, когда его назначили министром просвещения: «Я выражаю себя через свою философию где угодно, за какие угодно деньги и перед кем угодно,

потому что это – мое личное дело». А мы все околпачиваем себя, вновь и вновь ссылаясь на суммарные абстрактные категории – народ, общество, «все прогрессивное человечество» (последний всплеск политического идиотизма – глобализм). Но начинается постепенный возврат к приоритету индивида, который думает. Вы можете спросить: а если он не думает? А думает-то ведь тот, кто хочет думать. Тот, кто хочет думать больше, чем он хочет многие другие вещи.

Здесь необходима историческая справка, давайте перейдем к культурному и политическому преемнику Древней Греции – Древнему Риму. Как себя формулировало древнеримское государство? Обычно это было закодировано в такой аббревиатуре: SPQR («Senatus Populus Que Romanus») – «Сенат и народ римский». То есть сенат и народ были абсолютно равнозначны в этой формуле. Когда произошло восстание Спартака и подавление его Крассом, Крассе сказал: «Я не стану врать, что я разгромил Спартака не для самовозвышения, я не стану врать, что, несмотря на то что я человек небедный, – а он был очень небедный человек, – я также рассчитывал, разгромив Спартака, несколько поправить и свои денежные дела, но я это сделал ради государства, ради сената и народа римского», – не врать же нельзя, но в Риме был неписанный закон: перед своими не врать, они же тебя знают.

Историки-марксисты в сталинское время уверяли меня на лекциях по истории, что у Спартака не было ясно выраженной политической программы. Между прочим, дамы и господа, мы все смеемся, слыша этот бред, но в этом бреде есть и правда. У него не было политической программы, да и у Красса, который разгромил его, ее тоже не было. Но потом из ниоткуда появляется новый страшный человек, Люций Корнелий Сулла, вместе со своим врагом Марием, который устраивает маленькую славную гражданскую войну. При этом случайно Сулла перерезал 26 тысяч римлян. (Представляете себе Москву, где за три дня перерезали 26 тысяч интеллигентов? Было дело, когда с середины 1936 до 39-го перерезано не 26 тысяч человек, а, по общей прикидке одного статистика, 280 тысяч людей интеллигентных профессий. Так помилуйте, это же гигантская Москва, это же огромная страна!) Но Сулла говорил: у меня есть только одна цель – укрепление республики, я все это сделал в интересах государства. Не важно, что при этом он убил всех личных врагов, врагов своей огромной семьи – это как будто бы ерунда.

В Древнем Риме все записывалось в четырех экземплярах, в отличие от сталинской Москвы, где все записывалось, как сейчас полагают архивисты, максимум в одном экземпляре, а иногда ни в одном.

Была там и еще одна страшная вещь, которая при сталинизме буквально повторилась, – знаменитые проскрипции. Почти всегда, когда убивали патриция, убивали всех его рабов. Это значит – не только прикончить старого идиота-большевика, наркома здравоохранения, скажем, но и всех секретарей и секретарш и даже, как мне рассказывал один человек, который чудом остался жив, охранников в министерстве тоже. То есть воспроизводится стереотип.

И тут дело уже не только в политической власти. Тут появляется новая всепокрывающая концепция государства – Римская республика. Сулла сказал позднее Цицерону: «Ну ты-то, Марк Тулий, понимаешь, что во мне действовало государство?». Правда, государство его типа, а Сулла был страшный консерватор, традиционалист и – республиканец (убежденный враг монархии и диктатуры). А себя он облек временными диктаторскими полномочиями, не только не изменив государственного строя, но еще его и укрепив. Республиканский государственный строй оставался таковым, пока не наступила эра политического модернизма. Я подчеркиваю – Сулла был консерватором, который оставил государство в неприкосновенности. Правда, убил в этом месте 26 тысяч человек, но, как мы говорим, тоже наш жаргон – «это непринципиально».

И ему пришлось (уже мертвому) ждать, пока пришел человек, произведший первую революцию в Риме, революцию реальную, – Гай Юлий Цезарь. Кстати, сами римские историки называли это революцией. И приближалась эра нового типа государства, когда впервые в мировой истории было создано абсолютное государство, почти тоталитарное государство. Вы можете не верить, тогда купите Тацита; даже старый русский перевод был неплох.

Мы все очень любим величие по нашей собственной умственной ничтожности: «великое государство», «самое сильное государство». Вы думаете, что это в гитлеровской Германии началось или в сталинской России? Это началось очень давно.

Теперь – что такое абсолютное государство? Это идея. Его из камня не построишь, из железа не выкуешь, его даже не сложишь из письменных столов, за которыми сидят люди, которые все еще правят государствами, пока государство не проблематизировано и не прекратило свое существование в политической рефлексии. Что такое абсолютное государство? Ради бога, не думайте, что абсолютное государство обязательно должно заниматься истреблением своих подданных. Мы слишком к этому привыкли, более того, полностью с этим примирились во имя величия абсолютного государства. Появилось в Риме государство, которое больше не называлось «республикой». А как оно называлось со времени Октавиана Августа? Империя. Это уже был не Рим, а это уже было гигантское пространство, в которое было заключено около 70 народов.

И, кстати, Сулла боялся такой империи, он говорил: «Когда не будет республики, что тогда будет римлянин?». А ведь каждый умный император знает, что империя – это конец национализму, а не начало его. Какой может быть национализм в Лондоне XIX века, когда англичане покорили полмира? Люди с разных концов света приезжали в Лондон, основывали в Лондоне банки, предприятия, скупали землю. И тогда еще великий английский политик, который возложил корону императрицы Индии на чело королевы Виктории, Дизраэли, сказал не своему политическому врагу Гладстону, а записал в дневнике: «Сегодня предел моей жизни, предел моей славы. Я присутствовал при создании новой империи, Британской империи». Нормально, да? Совершенно аналогично тому, как в 1872 году себя объявила империей Германия. Отто фон Бисмарк записал в своем дневнике: «Теперь появляется третья после Британской и Русской, самая могущественная империя мира, Германская».

Я все сравниваю с древними римлянами; вы знаете, никогда не бойтесь параллелей.

Записав это, Дизраэли написал: «Вышел на улицу, оглянулся – и что я вижу? Безумное богатство и роскошь. Детская проституция, голод, нищета, низость в моей великой стране». Согласитесь, редко бывают такие премьеры. И дальше написал (он был романтик неисправимый; это он сказал, вернувшись с приема, где он был сделан герцогом, наследным лордом): «Я проклинаяю все это и самого себя». В каком-то

смысле это где-то отдает Древним Римом. А Бисмарк приписал, и это только подчеркивает двусмысленность политического существования человека: «Я сделал то, что не удалось ни одному немцу». И он говорит своему повелителю, германскому императору: «Эти идиоты все разнесут в пух и прах, потому что у них нет политического мышления». И так и случилось. Он предупреждал, когда гладил по щечке маленького принца Вильгельма: «Этот мальчик в пять лет уничтожит все то, что я делал пятьдесят лет». Вы не удивляетесь, я надеюсь? Все-таки в этих двух отзывах – и Дизраэли, и Отто фон Бисмарка – мы видим серьезную политическую рефлексию. То есть эти люди были людьми думающими, а не просто успешными выскочками. Они продумывали любую политическую ситуацию как ситуацию мыслительную. Более того, они все записывали, боялись за свою память, благодаря чему я могу сейчас об этом говорить, это все документировано.

После пространства Римской республики появилось пространство Римской империи, прототипа первого абсолютного государства (и отчасти это – предел абсолюта, тоталитарного государства): государство Октавиана Августа. Ну что же, человек из хорошего рода, я бы сказал, Юлиев клан, с гигантской родней, приемыш Цезаря. Правда, он убил, когда пришло время, всех, кто помог ему прийти к власти, под разными предлогами. Но не в этом абсолютность государства. А в том, что абсолютное государство является – в особенности на пределе перехода в тоталитарное – организмом, который не исключает ни одного члена, живущего на данной территории, из сферы – возвращаемся! – абсолютной политической власти.

И тогда мы видим: едет в ссылку Овидий. Вспомните Пушкина: «Назон, за что страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей». Каким образом, ведь Овидий человек сенаторского рода, блестящий поэт, которого очень любил Цезарь, за что он его отправил в ссылку? За аморализм и фривольность в литературе. Это, кстати, первый случай в мировой истории. Ну какое дело императору, что кто-то там пишет «Искусство любви»? Пусть с какими-то деталями, которые все и так знают. Да потому, что в тоталитарной версии абсолютного государства возникает такой тип политической власти, которой ничто не безразлично. Ведь вы знаете, где начинается политическая свобода? Не там, где власть вас любит (если власть вас любит, это так же опасно или более опасно для

вас, чем когда она вас ненавидит). Реальная политическая свобода начинается с безразличия власти к 90 процентам элементов вашего существования – вот тут начинается свобода.

ЧАСТЬ 2

Различные типы абсолютного государства пересекаются только в каких-то легких точках наблюдения, поэтому фразы «да это то же самое, что сталинский коммунизм, что гитлеровский нацизм» произносятся просто потому, что так легче думать.

Я говорю сейчас о сталинизме. Заметьте, дамы и господа, Сталин писал очень скупое, а говорил еще более скупое. Это был немногословный человек в отличие от Гитлера, который мог говорить часами. Сталин не любил говорить с людьми – ни с друзьями, ни с врагами; больше слушал, вставляя редкие замечания. И все-таки осталось достаточное количество документов, из которых прямо вытекает: что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, о чем бы вы ни думали, думаете ли вы об экономике, думаете ли вы о политике, думаете ли вы об организации швейного дела в городе Москве – это политика. Это первая аксиома сталинской версии абсолютного государства, тоталитаризма. Нет, лучше так: политика – это все. Ничего кроме политики нет.

Но при этом он ведь являлся единственным субъектом политической рефлексии. То есть «все это – политика, но политика – это не вашего ума дело». То есть политика как бы делится на две политики. Политическое мышление объективируется этим человеком как антитеза субъекта объекту. Субъект – это государство, объект – это народ. И самый, можно сказать, бессмысленный лозунг: если ты не доработал свой рабочий день, то ты контрреволюционер, ты политический противник – получает свой смысл в смысле этой антитезы. И ты не понимаешь, что то, что ты ушел с работы на час раньше, это политическая акция. Тебе вообще и не положено это понимать, но главное, что я это понимаю. А вот ты – слушай, что тебе говорят. И это очень четко проходит по опубликованным партийным документам и в особенности по заметкам и замечаниям Сталина по поводу краткого курса истории ВКП(б). То есть: «Все мышление, дорогие сограждане, – за мной; вам положено знать то, что я мыслю, промысливаю и обмысливаю». И не думайте, что это от его личного тиранства. Это от того типа государства, который сформировался – по моей концепции – с феноменальной быстротой в России. С какой-то невиданной в истории

быстротой. Объект власти/ее субъект – это первая антитеза тоталитарного абсолютного государства.

Теперь вторая антитеза. Абсолютное государство является абсолютным как интенсивно, так и экстенсивно. То есть оно абсолютно и внутри себя (ничто не может выйти из его сферы внутри этого государства – это интенсивное измерение абсолютного государства), но оно и абсолютно экстенсивно. А именно: оно себя мыслит (это метафора) не только как образец государства в мире, но и как единственное реальное государство. Откуда Сталин взял эту мысль? От Гегеля через марксизм.

Сталин был человеком, очень упорно читающим, в отличие от Адольфа Гитлера, который ни к черту ничего не читал. Ну разве что Чемберлена да всяких глупых генералов патриотических. В общем, Гитлер был человеком отменно невежественным. Поэтому, когда он, сидя в тюрьме, пригласил двух своих друзей помогать писать «Майн Кампф», он сам говорил Гессу: «Ты помни, что ты знаешь факты, а я знаю дух, и ты помогай духу материей фактов».

Сталин никогда не позволил бы какому-то там еще лобастому ему диктовать. Сталин обходился великолепно без помощников, помощники ему были нужны только для проверки данных. Гитлер ни одного дня, ни одной минуты никакой проверкой никаких данных не занимался. Его это не интересовало. Кстати, заметьте: сама идея проверки данных – это тоталитарная идея, которая в том числе выражена в сталинском лозунге «Доверяй и проверяй». А Гитлер сказал: «Если я немцу своему доверяю, я его не проверяю. Он меня никогда не обманет». Гитлер тоже преувеличивал, конечно. Но Гитлер не был тоталитаристом. Он не хотел тоталитарного государства, отсюда его нежелание ни во что влезать. Я читал стенограмму его бесед со Шпеером. Представьте, выступает главный контролер армейских поставок (можете себе представить, что было в руках этого человека?), Гитлер его обрывает и говорит: «Доктор, хватит! Я плачу вам деньги за вашу работу, и не заставляйте меня слушать всю эту скукоту. Меня это не интересует». У Сталина это невозможно.

Вы можете себе представить, чтобы Гитлер вызвал поэта, который – представим – начал шататься и проклял фашизм, и чтобы Гитлер этому ужаснулся:

«А какое мне дело, пусть пишет свои дурацкие стихи». Это ведь невозможно для тоталитарного государства. Тоталитарному государству есть дело до всего, поэтому Август Октавиан посылает за аморализм поэта Овидия в ссылку в Молдавию. Этот момент тоталитаризма четко прослеживается на Августе Октавиане, Тиберии и Калигуле, но Тиберий и Калигула – это уже были дегенераты полные. В то время как Октавиан Август был еще талантливый человек.

Здесь интересен второй момент тоталитаризма, на котором настаивает замечательный английский историк, ныне лорд Тревор-Ропер, который издал известную книгу «Последние дни Третьего рейха», он Гитлером занимался полжизни. И он приходит к замечательному выводу: «Слушайте, когда я сравниваю то, что говорили и писали приспешники Сталина и он сам, – это же царство чистого интеллекта по сравнению с Гитлером». Как вам это нравится? А это точно так и было. Потому что с точки зрения гитлеровского абсолютизма, а не тоталитаризма, это ни к черту никому не нужно:

– Я знаю этих людей. А Шпеер ему говорил:

– Мой фюрер, но они же двух предложений в немецком языке вместе связать не могут.

Гитлер говорил:

– Они – мои верные слуги.

Политическая рефлексия тоталитаризма по преимуществу должна быть интеллектуальной. Более того, когда я читал (а они сейчас опубликованы) сталинские заметки на полях разных читанных им книг – он же был чистым интеллектуалом! То есть иногда говорил какую-то чушь невообразимую, но это была интеллектуальная чушь. Главное, что он был интеллектуалом и настоящих интеллектуалов очень уважал. Это важный субъективный момент любого тоталитаризма.

Слушайте, умоляю вас – занимайтесь историей XX века. Тацита потом будете читать. Или лучше так: прочтите Тацита и садитесь за историю XX века, или вы не поймете ни одной минуты в XXI.

А возьмите великих вождей тоталитарных государств. Сколько, по-вашему, было в истории XX века тоталитарных государств? Это очень просто посчитать. Я говорю об удачных попытках, были неудачные попытки воспроизвести в государстве

тоталитарный режим. Советское тоталитарное государство – первое. Гитлеровский режим, при всех концлагерях и гестапо, при чем угодно, не был тоталитарным. Гитлер этого не хотел. Заметьте, его девизом было единство государства и народа, «моего народа». И значит, лозунг в Мюнхене в первой пивной, где они собирались (на ремонт которой он потом дал деньги), – «Народ и государство едины!». Лозунг для Сталина невозможный, а у Сталина какой был лозунг? «Народ и партия едины!» – это на самом деле реализация тоталитарного принципа. Когда-нибудь разве Сталин так обращался к народу, как Гитлер? Сталин не любил народа. Чрезвычайно редко, как говорили об этом его секретари, иногда в порядке показухи, мог встретиться с какой-нибудь ткачихой или Мамлакат Наханговой, или с каким-нибудь знаменитым шахтером. Он этого всего не любил. Сталин в глубине души, да и не в глубине – был жуткий антипопулист.

Гитлер любил народ, но ненавидел посредников между собой и народом. Тревор-Ропер подсчитывает, сколько человек из партийной элиты убил Сталин и сколько человек из своего окружения убил Гитлер: Гитлер совершил одно частичное избиение своего прежнего окружения, он убил главарей штурмовиков – знаменитая «ночь длинных ножей». Да, он убил, не путайтесь, 867 человек. Вы скажете, мало? Для тогдашней Германии это было очень много. Сталин за четыре года истребил 98 процентов прежней верхушки партии. Почему убивал Гитлер? Потому что эти люди мешали его прямой связи с народом. Они были сами популистами. На самом деле популизм он презирал так же, как и Сталин. Но это были два совершенно разных ответа на популизм. И с тех пор он не убил ни одного человека. Большинство штурмовиков остались в живых. Хотя он убил верхушку в одну ночь, очень квалифицированно.

ВОПРОС: А покушение в 1944-м?

Вы знаете, я читал самое подробное описание покушения 1944-го. Ведь вообще на вождей тоталитарного государства покушаются чрезвычайно редко. Как правило, вообще не покушаются. Потому что это в рядовой политической рефлексии непредставимо. И я помню, как мой старый друг, с которым мы не сходились вообще ни в одном пункте, но тем не менее любили друг друга всю жизнь, Георгий Петрович

Щедровицкий, говорил: «Кретины военные, да они же могли Сталину свернуть шею в пять минут». А кто их сделал? Он же мог их всех убить уже в начале 1930-х, но пока оставил на развод. Сейчас, думая обо всем этом, люди обманываются не только потому, что читают не те книги или вообще не читают. И не от задуривания телевидением. Но это нормально. Никогда не ругайте телевидение, это ваше телевидение, наше телевидение, вы его себе заказали, вы его смотрите, не ругайте его! Пойдите сделайте лучше сами.

Я посмотрел этот фильм – милый, честный, сентиментальный и божественно бездумный – «Московская сага», где дан внешний срез, а все проблемы аккуратно засыпаны. Вы помните, там все начинается с убийства Фрунзе. Главным военным союзником Сталина в приходе к полной власти был Фрунзе. Получил свое? Получил, нормально. Не интересно, это уже дело историков. Тут важен только принцип отношений: народ, который, с одной стороны, абсолютно заполитизирован, а с другой стороны, не должен ни понимать, ни знать политику.

Вернемся к перечислению тоталитарных режимов. Значит, первый – ленинский, который уже содержал в самом начале готовые структуры тоталитарного государства. Ведь слова такого не было! А все было великолепно продумано. Второй приход тоталитаризма к власти где? Дамы и господа, почему мне никто не поможет?

РЕПЛИКА: В Китае.

В Китае, конечно. Запомните, тоталитаризм всегда возникает уже готовым – в головах. В чьих головах? Лидера, вождя. Тоталитаризм не может возникнуть экспромтом, как какая-то политическая эвентуальность. И когда в 1946 году стало ясно очень немногим, что это режим тоталитарный, Мао уже имел перед собой идеально готовую в деталях программу. Не говоря уже о том, что это был человек, по трудолюбию почти равный Сталину. Он все разрабатывал, прорабатывал, обрабатывал, дорабатывал каждую фразу. Заметьте, глава тоталитарного государства не может быть ни дилетантом, ни менее всего шарлатаном.

Что было третьим случаем? Третьим случаем была Северная Корея. До сих пор она здравствует, правда, народ там подыхает постепенно, но это не важно – это еще никого и никогда не останавливало. Затем четвертый случай, страшный –

кратковременное существование тоталитарного режима в Эфиопии. Ужас там царил совершенно неопиcуемый, кто интересуется Эфиопией? Какой пятый cлучай?

РЕПЛИКА: Югославия?

Это вторично.

РЕПЛИКА: Албания?

Это тоже. Тито – типичный абсолютист, не тоталитарист. Пятый cлучай, это самый страшный – Камбоджа, где Пол Пот просто уничтожил в какой-то невероятно короткий отрезок времени больше половины взрослого мужского населения. Это, знаете, не каждый может. Но это уже был вырожденный тоталитаризм, и вьетнамцы и начавшаяся внутренняя оппозиция с ним фактически разделались в три недели. Он был нежизнеспособным. Потом тоталитаризмы стали гаснуть. А вы знаете, почему? Начало проходить время. Вы понимаете, произошли такие трансформации политической рефлексии, при которых можно было кое-как продолжать старый тоталитаризм, но установить новый стало почти невозможно. Вообще тоталитаризм – это исторически очень редкая вещь и безумно интересная.

ВОПРОС: А какие еще были попытки установления тоталитаризма?

Была попытка установления тоталитарного режима уже тогда начавшим впадать в старческое слабоумие уродом Сукарно в Индонезии. И еще одна неудачная попытка, это наш общий друг Фидель Кастро. Я говорил с моими кубинскими друзьями, и они со мной согласились, что тоталитарной программы во время кубинской революции у него не было. Он хотел захватить власть и установить режим абсолютного государства. Не тоталитарист по природе. А вот если бы его друг Че Гевара захватил власть – вот тут была бы новая Камбоджа.

ВОПРОС: А Пиночет?

Ну что вы! Пиночет-это типичный буржуазный абсолютист, который не хотел вообще ни во что вмешиваться, просто держать власть в своих руках. Мы, кроме того, забываем, кто фактически привел к власти Пиночета. Вы помните? Потому что этот

замечательный, как я его называю, коммунист-идеалист, доктор Альенде восстановил против себя профсоюзы. А в Чили профсоюзы были очень сильными. А кого еще поддерживали активно профсоюзы? Гитлера, не так ли? А страна, где еще надо договариваться с профсоюзами – разве она может стать тоталитарной? Нет, это уже всё. Ленин разве договаривался с ВИКЖЕЛем (Всероссийский исполком железнодорожников. – Прим. ред.)? Да это смешно. Ленин сам отдал приказ расстрелять профсоюзную демонстрацию.

ВОПРОС: Если бы вместо Сталина пришел к власти Троцкий, был бы тоталитаризм?

Думаю, что что-то вроде тоталитаризма могло бы быть. Но, видители, он по типу не годился в тоталитарные лидеры. Потому что он был и по душе, и по профессии – революционер. Чистый революционер не может возглавлять ни абсолютного, ни тоталитарного государства. Потому что это противоречит идее абсолютной революции. Лев Давыдович был человеком хаотического мышления. Блестящий оратор. Как признают все белогвардейские офицеры, самый храбрый человек в армии. Но он был маньяком, маньяком революции.

ВОПРОС: Чем тоталитарное государство отличается от абсолютного?

Это предельный случай абсолютного государства. Оно отличается абсолютной объективацией политической рефлексии в субъекте государства, абсолютной политизацией населения, другой стороной которой является абсолютная его деполитизация. «Все, что вы делаете, – это политика, но это моего ума дело, а не вашего».

Абсолютное государство может иметь варианты и версии, в то время как тоталитарное государство не признает вариантов и версий в самом себе. Отсюда главная проблема мышления Иосифа Виссарионовича (он с ней справлялся отлично) – каким образом переформулировать программу сегодняшнего дня. Великое мастерство – переформулирование программы сегодняшнего дня, как если бы он это говорил точь-в-точь вчера и позавчера. При том, что на самом деле он мог говорить нечто диаметрально противоположное! В абсолютном государстве это было бы либо

парадоксом, либо абсурдом. А в тоталитарном государстве это – «не мое дело»: политическое мышление уже произошло. И при этом не понимайте это как полную произвольность и хаос, ничего подобного. Полный порядок, потому что каждая следующая формулировка по необходимости устремлялась в прошлое, одновременно отменяя его и переутверждая как настоящее, а на следующий день перенося его и в будущее. И вообще тоталитарный режим – это режим, который абсолютно контролирует все манифестации самого себя, то есть все обязаны его понимать так, как он себя понимает. Даже если он будет себе противоречить по десять раз на дню – это не ваше дело. Это режим, утверждающий исключительность. Но если это так, то возможна ли в этих условиях политическая стратегия? Тут мы переходим к интереснейшему моменту, на который когда-то обратил внимание известный британский военный историк Лидделл Гарт. Ведь мы все исходим из того, что наверху – стратегия, в середине – оперативное искусство, внизу – тактика. Значит, тактик – старший лейтенант, командир роты. Операция разрабатывается полковниками и генералами. А стратегия разрабатывается кем? Неизвестно кем – вот ответ.

Оказывается, что материалов, относящихся к политической стратегии, почти нет. Во всяком случае, их (сейчас публикуются архивы) никто из историков не заметил, все – тактика. То есть найти в решениях раннего Политбюро действительно стратегический документ очень трудно.

ВОПРОС: А что вместо стратегии – хитрость?

Простите, я не стал бы сводить стратегию к хитрости. Это тактика может быть хитростью. В стратегии – ни в политической, ни в военной – вы хитростью не обойдетесь. Как режим политической рефлексии, мышления, любой тоталитарный режим по природе своей антистратегичен: сначала надо убить этих, потом убить тех, наступать там, отступить здесь. Ведь на этом-то, собственно говоря, Сталин и погорел перед началом войны. Почему, вы думаете? Наивные историки говорят, что он дал Гитлеру себя обмануть. Это чушь полная. Он был умнее Гитлера в десять раз, если не в сто. Он погорел, потому что вовремя не смог для себя самого сформулировать новую политическую стратегию.

ВОПРОС: А пятилетки – это не стратегия?

Я вижу, что я плохой лектор! Планы пятилеток, планы экономического развития никакого отношения к экономике не имеют. Это были чисто политические планы, и в основном их содержание было тактическим. А отсюда и вот та, с точки зрения поверхностных историков, ошеломительная неразбериха в движении от сплошной коллективизации к «головокружению от успехов». Понимаете, в том-то и дело, чем бы Сталин ни занимался – это была чистая политика. И вот тут, конечно, без параллелей не обойдешься. Если вы возьмете Гитлера, он вообще слышать обо всем этом не мог. Он говорил: «Я вам деньги плачу, чтобы вы занимались экономикой, чтобы вы занимались сельским хозяйством, чтобы вы занимались производством пушек и снарядов. А вам, – обращался он гневно к генералам, – я плачу деньги, чтобы вы этими снарядами из этих пушек стреляли». Как раз Гитлер хотел стратегии. «Стратегия – это мое дело, – говорил он, – разве эти дураки из Генштаба могут быть стратегами?» У Сталина это все перерабатывалось на совершенно ином уровне. Более того, вы знаете что? Он боялся стратегии. Тут я гарантирую каждое свое слово: известно ли вам, что не только за три месяца, но и за три недели до Октябрьской революции у Ленина не было стратегического плана революции? Каким же образом она свершилась? Как любил говорить покойный первый командующий, прапорщик Крыленко: все получалось явочным порядком. Пришли к Зимнему явочным порядком И, кстати, отсюда все ошибки тоталитаризма – он готов к изменению тактик, но он постоянно выдает тактики за стратегию. То есть получается так, как в вырождении тоталитаризма: Никита Сергеевич развитие кукурузоводства или химии выдавал за стратегическую задачу.

ВОПРОС: А «догоним и перегоним Америку» – разве не стратегия?

Ну согласитесь, это не стратегия, это кукольный театр! Единственный раз, когда он почувствовал, что пахнет жареным – помните, Карибский кризис, кубинский кризис, – он спросил у адмирала Горшкова: «На сколько хватит мощи советского флота, чтобы удерживать кубинские коммуникации?». Это я слышал практически из

первых уст. Говорят, что Горшков повалился на колени и заплакал. А, кстати, он был прекрасный руководитель флота, и он любил флот. Он сказал:

– Никита Сергеевич, ни на сколько не хватит.

– Как ни на сколько?

– Я прикидываю со своим начальником штаба, что весь неподводный флот американцы уничтожат за два дня, подводный – может быть, за три.

Горшков просто смертельно испугался, и поверьте – не за себя. Он же любил свои корабли, своих моряков, из них ни одному было бы не остаться в живых. А Никита Сергеевич на слезы реагировал. Слушайте, это стратегия, по-вашему? Но уверяю вас, виноват не он, а сталинское тоталитарное воспитание. И вот тут он сам серьезно решил посоветоваться. Правда, не в пик кубинского кризиса – тогда, как рассказывали его дети, он был в таком состоянии, что не мог ни с кем говорить, – он позвал нескольких людей, уму которых он верил (заметьте, уму!), и стал спрашивать, что делать. Иначе говоря: давайте придумаем какую-нибудь стратегию.

Спасибо, до следующей встречи. Мне доставило большое удовольствие с вами разговаривать.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПЯТОЙ ЛЕКЦИИ

ЧАСТЬ 1

Нейтрализм абсолютного государства – компетентность, эксперты – нейтрализация личности – единовластие как символ абсолютного государства – трансисторичность лидера.

ЧАСТЬ 2

Тоталитаризм как начало проблематизации абсолютного государства – семья как материал политической рефлексии – баланс экстенсивности и интенсивности – война – о народе.

Вопросы.

ЧАСТЬ 1

Дамы и господа! Абсолютное государство, мыслимым пределом которого является государство тоталитарное, представляется нам, и это правильно, как понятие политической рефлексии. Оно представляется нам какой-то уже сложившейся апостериорной синтетической конструкцией, в которой, если разбираться, сам черт ногу сломит. Но в реальном низовом политическом мышлении оно априорно задано, и никакой черт в нем никакой ноги не сломит, потому что когда оно стало основным понятием политической рефлексии, то очень скоро превратилось в стойкий шаблон не только рефлексии, оно превратилось в стойкий шаблон обыденного мышления о политике. Ну а как же еще? Но не буду возвращаться к тому, что говорил в прошлый раз, когда я пытался объяснить, что такого рода шаблон – это вещь историческая. И не пытайтесь считать, что шаблон – это что-то вечное, и банальнейшим образом включать это в другое гигантское оглупляющее понятие – человеческая природа. Потому что здесь нам очень легко перейти от игры воображения к простой и прямой лжи, что, в общем, мы все и делаем, не замечая. Кстати, переход иногда очень тонкий. Вроде никто не споткнется, никакого порога нет, а не заметишь, вроде начинаешь здраво рассуждать и вдруг – врешь сплошь. Это больше всего относится, конечно, к политической историографии и к попыткам историографов одновременно быть объективными и современными. Ведь до сих пор не понято, что быть современными – это не осовременивать прошлое, это уже надоело, это делалось десятки раз во всех странах, а смотреть на прошлое из отрефлексированной тобой самим современности – вот в чем современность.

Я вам уже, дамы и господа, надоел римскими и греческими параллелями. Но обратимся к следующему и не разобранному нами моменту абсолютного государства. Дело в том, что идея абсолютного государства, с которой мы с вами родились, в принципе нейтральна. Или, как сказал один великий абсолютный государственный, «мелочами не занимаемся». Но ведь что самое замечательное: на самом-то деле именно с абсолютного государства начинается занятие мелочами. Ведь уже в контексте перехода от республики к великой империи, от города Рима к половине мира – Овидий с его ссылкой за аморальность кажется какой-то ерундой. Вот в этом-то и особенность. Этот принципиальный нейтраллизм абсолютного государства

приобретает почти совершенную репрезентацию в тоталитаризме, когда целое – это все, а частное – это ничто.

Что значит нейтраллизм абсолютного государства? Это его безразличие, по существу, к формам его самого и к формам политической власти. В конце концов, власть Советов, о которой мы говорили, когда мы говорили о политической власти, прекрасно можно заменить на власть народа, прекрасно можно заменить на власть справедливости и так далее. И последний раз возвращаюсь к тому, как самая совершенная политическая рефлексия – условно в данном случае назовем ее абсолютной – ломается в любой критической ситуации. Но что замечательно – какова тоталитаристская реакция на такое печальное событие? «А, в общем, исправим! Все можно наладить».

Вы знаете, что требовалось от римского императора? Две вещи, только две. Первая: он должен был уметь воевать, то есть он должен быть талантливым военачальником. И второе: он должен был обязательно уметь говорить. А вы знаете, что даже в период наибольшего, уже загнивающего имперского тоталитаризма не было императора, даже такого выродка, как Нерон, который бы не мог выступить адвокатом в суде. И ведь они очень часто выступали! Хотя Нерон прекрасно знал, что, шевельнув мизинцем, он мог уничтожить в один день всех судей и адвокатов. Тем не менее существовал еще некоторый метафизический престиж. И если бы язык этих императоров был таким же, как практически у всех руководителей великих держав сегодня, то над ними бы издевался весь Рим. Они были обязаны говорить, и их учили греки-учителя – с детства.

И тут появляется частная, но очень интересная категория, которую бы я на современном вульгарном языке назвал компетентностью. Ведь это почти противоречие! Помните, я разошелся на прошлой лекции, говоря о современных экспертах? То, что ты не можешь просто знать свое дело, ты еще должен знать, чего от тебя хотят. А вы знаете, любое двойное знание, двойное в каждый момент – убивает знание. Я бы сказал так: сегодня надо быть гением, чтобы быть хорошим экспертом.

И вот Октавиан Август послал одного, я бы сказал, эксперта (конечно, своего друга, но человека талантливого, заметьте) – Вара в Германию. С Варом случилась

пренеприятнейшая история: он погубил армию. Это было страшное поражение римлян. Как вы знаете, по Светонию, Октавиан рыдал, в истерике бился о стены своей комнаты и кричал: «Вар, отдай мне назад мои легионы». Вар погубил три лучших римских легиона. То есть, на языке Второй мировой войны, погубил три корпуса, погубил фронт. Погубил войско, армию по тому времени. Естественно, Вар закололся мечом.

Глупая фраза, вульгарная, никогда ее не повторяйте – «Времена были не те». Это мы были не те, люди были не те! Времена – это функция от мышления, а не мышление – функция от времени. Когда мы говорим: вот так я поступал, такое уж было время, мы себя самих репрезентируем как бездумных жалких идиотов. Времени нет, мы есть! Мы другие – время другое.

Оставим Вара, перейдем в поздние 30-е годы, когда командующий первым и единственным Северо-Западным Финским фронтом блестяще погубил четыре красноармейских корпуса. Я не знаю, бился ли в истерике Иосиф Виссарионович. Сомневаюсь – он был очень серьезным человеком, серьезные люди не бьются в истерике. И член Военного совета Мехлис не покончил самоубийством, пронзив себя мечом, в ситуации психологически параллельной. Кстати, в военном окружении Иосифа Виссарионовича были люди абсолютно компетентные, как маршал Шапошников (главной отличительной чертой которых, как пишет один советский хронограф, было то, что все их напряженно слушали и никто не слушался, но это нормально).

Здесь мы имеем дело с критической политической ситуацией. Каким образом определить критическую политическую ситуацию? Это когда политическая рефлексия абсолютного государства подходит к тому рубежу, который один замечательный военный историк сегодняшнего дня (но он уже очень пожилой человек) называет рубежом неэффективности. То есть исполнителям уже совершенно ясно, что все, что последует затем, не даст эффекта. Что же делать в этой ситуации? Вердикт Тацита почти равен вердикту Сталина: очень просто – надо взять на это дело совсем других людей. И Тацит считал: ну раз у тех ничего не получается – значит, надо их немедленно отправить на их виллы, в отставку, пусть занимаются сельским хозяйством.

У Сталина была другая идея: отправить их в другое место, но в данном случае это непринципиально (помните, тоталитарное государство нейтрализует человеческую сторону – это очень важно). Поскольку государство является само универсальным нейтрализатором и где спонтанно, где не спонтанно избавляется от негодных ему людей, но это ходовая фраза, на самом деле это глубже. Все-таки ведь действительно невозможно в Генеральном штабе на равных правах держать четырех людей, которые только что чуть не погубили Советскую армию на Халхин-Голе, и четырех новых. Значит, должны быть только новые, и это абсолютно во всех сферах, не только в армии. Значит, нейтрализация не работает на этом рубеже неэффективности.

Кстати, заметьте, как и Август Октавиан, Сталин не расстрелял ни одного полностью провалившегося генерала или маршала, ведь это очень интересно. Ни одного. Ну бедного генерала Павлова расстреляли, потому что тот не то с женой, не то с любовницей уехал куда-то в ночь нападения Гитлера на Советский Союз. Но ведь это смешно, да? Даже старик Молотов говорит: «Едва ли это было правильным шагом, хороший, честный генерал, – пишет он, – еще не вполне выживший из ума (они очень медленно выживали из ума, мы гораздо быстрее), генерал Павлов, командующий Западным фронтом, он же должен был, в конце концов, когда-нибудь отдохнуть?!». Мой приятель, специально занимающийся военной историей, составил список полностью провалившихся генералов и маршалов. Сталин их пальцем не тронул. Ну перевел на другую работу, бывают же у человека ошибки. И опять же, кто не ошибается, тот не работает, и так далее. Так что нейтрализация всегда шла по двум линиям. Ведь поймите, что любому абсолютному государству абсолютно необходимо – а уж тоталитарное без этого не может прожить ни часа – нейтрализовать различия между людьми. Это вовсе не значит нивелировать. Именно нейтрализовать, иначе говоря, на простом русском – нейтрализовать личность. А ведь это в принципе любую личность убивает, даже если никто к ней не притронулся, потому что она уже не личность. То есть гениального руководителя промышленности и шарлатана репрезентируют в один ряд со средним инженером-практиком. Кстати, Сталин прекрасно знал, кто талантливый, а кто нет.

Уже под конец жизни – извините за повторяющуюся параллель – Октавиан пришел в ужас. Потому что он был из той семьи, где люди были ответственными за Римскую республику. Он же единовластный властитель Рима. И Римская республика уже давно растоптана его приемным отцом, и им, и его страшной женой, и сонмом племянников, свояков. Но родился то он еще с чувством ответственности за государство, которое называлось Римской республикой, а не империей. И вот он почувствовал себя в адском вакууме: вокруг ни одной личности, то есть ни одного подданного, отличного от другого.

Хоть я его и не люблю, но это был настоящий философ – Георг Фридрих Вильгельм Гегель – он комментировал древнеримскую историю как уже осознанную борьбу за признание одного человека другим. И на этом осознании покоился и периодически отдыхал – простите за вульгаризацию – гегелевский Абсолютный Дух.

Вот тут мы переходим к решающему моменту абсолютного государства (в политической рефлексии абсолютного государства мы все родились и остаемся до сих пор) на его переходе – заметьте, не историческом, а эпистомологическом переходе – к государству тоталитарному. Последнее не только безразлично к конкретным формам государственной власти (или политической власти), но оно перестает себя отождествлять с этой политической властью. Оно становится не каким-то фактором мышления, политической рефлексии, а оно онтологизируется, ему придается онтологический статут, сильнее, чем статут политической власти. То есть государство, попросту говоря, в нашем мышлении становится важнее политической власти в нем, оставаясь при этом пока единственным в мире (но это все кончается, дамы и господа, чему я очень рад). Но пока эта онтологическая самодовлеющая способность государства все-таки остается! Но это же государство!

Слушайте, вы можете себе представить: такой полный политический недоносок, как император Домициан, младший сын Веспасиана (который никогда не был недоноском, а был умнейшим человеком), говорил: но ведь «я – государство римское», предвосхищая этим Людовика, который сказал: «Государство – это я», хотя иногда, как говорят его биографы, сам очень сильно в этом сомневался. Домициан был вырождаком полным и ни в чем не сомневался (кстати, именно это – один из признаков вырождака). И это вытеснение из сознания всего, и в первую очередь

ощущения самодовлеющей власти, за счет государства – важнейшая вещь, когда мы говорим об абсолютном государстве в его возможном движении к тоталитаризму.

Я не историк, знаю историю омерзительно плохо (без всякого кокетства вам говорю). Ну знаю кое-что. Но, с другой стороны, это плохое знание дает мне возможность и себя самого рассматривать как некоторый низовой уровень той же политической рефлексии. Это очень важно: если ты хочешь мыслить, то ты должен знать, кто ты; кто ты и этом объекте, о котором ты мыслишь; каково твое отношение; как ты в этом объекте сам себя репрезентировал и как другие тебя в нем отрепрезентировали.

Я все ждал, что кто-нибудь из вас спросит: а почему абсолютное государство, не говоря о тоталитарном, управляется обязательно одним человеком, если говорить попросту? Давайте говорить какие-то простые вещи. Будь то Людовик XIV, его внук Людовик XV, будь то Петр Алексеевич (они не были тоталитаристами, это были чистокровные абсолютные монархи), Иосиф Виссарионович, Пол Пот или самый страшный эфиопский палач, фамилию которого я все время забываю. Кстати, не забывайте, что и страшный эфиопский палач, и Пол Пот были не просто интеллигентами, окончившими европейские университеты. Пол Пот был аристократом, а уж этот самый эфиоп тоже из знатной семьи. С прекрасным образованием все были. Поэтому, говоря о них как об абсолютно единовластных правителях, вы можете спросить (я сейчас не говорю об «отце всех народов» Мао Цзэдуне): но почему обязательно единовластие? Обязательно ли?

Здесь кончается почти современная история и начинается чистая политическая философия. Абсолютное государство, поскольку оно абсолютное, ищет свою репрезентацию в одном и едином. Онтология единичности должна манифестироваться в одном вожде, в одном, грубо говоря, правителе, в одной главе. И древние греки это ощущали и, скажем так, очень этого не любили. А мы это ощущали и очень это любили: «О, это просвещенный вождь, вы еще не знаете, что это за человек!». Я прочел огромную монографию одного англичанина – между прочим, сына лорда, талантливого историка – о Мао Цзэдуне. И он говорит: «Как только я увидел этого человека, – это англичанин пишет, а не учитель средней школы из Калуги и не учитель китайской средней школы из Нанкина, а англичанин, который

Оксфорд окончил, – как только я увидел этого человека, я почувствовал – это он, один, и никого кроме». Можете себе представить? Когда он это написал? В 1973 году. Казалось бы, не в 23-м! А в 73-м! И вот тогда он сказал: «Я понял, это харизма». Тут надо заплакать, да? Слово «харизма» было введено в середине 60-х годов и очень быстро стало объектом социологических исследований. И на харизме много бездарных молодых людей стали докторами и профессорами английских, американских и немецких университетов. Вы поймите, что неотрефлексированность языка чрезвычайно выгодна простым людям. Они считают, что это непонятно. А на этом рынке все непонятное стоит гораздо дороже. Ну хорошо, я не хочу карикатуризировать. Однако давно ставшее базарным феноменом понятие харизмы теперь уже выводится прямо из марксистского учения о роли личности в истории, а через исторический материализм – из Гегеля.

Умоляю вас, не считайте, что исторический материализм был единственным отцом нашего прошлого политического идиотизма, забудьте про это. Отцом моего идиотизма был и есть я – сам человек, а никакой не Маркс.

Так появляется харизма. И вдруг оказывается, что любой единовластный глава тоталитарного государства – и этот самый омерзительный эфиоп, и этот космический debil Ким Ир Сен – это харизматический лидер! Я как-то очень давно говорил с одним польским профессором, и он все время поднимал указательный палец правой руки. Причем человек очень образованный, совсем не зацикленный на марксизме. И он говорил: «Но бывают же исключения. Вот, например, есть такой харизматический лидер, как Фидель Кастро – он абсолютно чистый человек» (кстати, это большевистская терминология – «чистый, как слеза»). Здесь важно именно это ощущение, вырастающее из онтологии абсолютного. Понимаете, нам-то все еще кажется, что в основе всего лежит наше чувственное восприятие как восходящее ко все той же человеческой природе (по-видимому, к моему глубокому сожалению, не существующей, вранье все это в основном). Мы забываем, что на определенной фазе нашего мышления – это самое ощущение становится абсолютно тоталитарно господствующим. Это великолепно понимали поздние буддистские философы, и к этому пониманию пришли совсем не самые великие философы Европы, английские

эмпирицисты, которых, кстати, Кант бесконечно уважал и говорил, что без них вообще никакой его философии никогда и не возникло бы.

Получается, что сам исторический феномен возникновения тоталитарного государства уже нашел свою манифестацию в эпистемологическом эпифеномене одной-единственной личности, которая с этим государством отождествляется. И самый яркий пример здесь, конечно, был не Мао Цзэдун, который, при всем моем уважении к этому крестину (сильный был человек), себя никогда не отождествлял с государством, он отождествлял себя с космосом. Вы знаете, это смешно, но очень интересно. Простите, теперь я опять перехожу на ненавистный мне научный жаргон – еще это государство не встало на место, еще не отрефлексировало себя как тоталитарное или даже абсолютное, а уже готов один лидер. Почему? Эта идея «одного» – очень четкий случай, я бы назвал это так, символической структуры сознания. То есть это не просто манифестация единого государства в одном человеке, а это то символическое дополнение к идее, к мысли об абсолютном или, как предельном случае, тоталитарном государстве как одном человеке. Вы помните, мы говорили о нейтрализации личности? Что она означает, грубо говоря – вы не личность не потому, что вы, сударь, ничем не выдающийся человек, а вы не личность, потому что у нас уже есть одна личность. Она заполняет пространство и определяет фазу политической рефлексии. Иначе говоря, она является символом.

Вы можете спросить: символом чего? Это не просто символ, это символическая репрезентация уже не власти, а одного государства (или мирового, если Гегель был прав, не живись ему спокойно в его нынешнем перевоплощении). Это символизирует абсолют в нашем собственном мышлении. Единичность, единство и универсальность этого символа постоянны, будь это Пол Пот, Сталин, Кастро или Че Гевара, так вовремя убитый своими. Но тут важен еще один момент: этот символ манифестирует не только этологию государства (то есть то, как оно себя проявляет в поведении и речи), но он манифестирует и этику, по необходимости становясь символом – в политической рефлексии и в обыденном мышлении, – символом не только зла, но и добра. Он – и добро, и зло, он – и самое страшное и гнусное, и самое высокое и благородное, это зависит от индивидуального субъекта. Важно, что он всегда – то.

Можете себе представить такого утонченного интеллигента, просто человека, у которого интеллект из ушей и ноздрей лез, как Сартр. И когда он первый раз приехал в Москву, мои друзья говорили: хоть краешком бы глаза на него посмотреть. Но я всегда был человеком резким и невоспитанным, говорил: дерьмо это (то есть переключал на него рефлексю). Так вот сюда приехал Жан Поль Сартр. Если бы вы видели, какой энтузиазм интеллигенции! Это был человек, который говорил: «Одна мысль о Мао Цзэдуне ставит меня на три ступени выше в моем философствовании». Вы можете сейчас поверить? Это человек, который знал историю философии гораздо лучше – о себе я не говорю вообще – гораздо лучше Хайдеггера. Он был – простите, я люблю выражения своего народа – он был, выражаясь на простом русском языке, культурнейшим и интеллигентнейшим человеком Франции. То есть, конечно, по сравнению с Сартром, я думал, я какой-то партизан, тайком пробравшийся к философии задворками. Мне было противно все, что он говорил здесь, я говорил друзьям:

– Ну это же пошлость, вы что, ребята, с ума сошли?

– Но ведь он же все так тонко чувствует.

А я тогда сказал:

– Так вы с ним скоро дочувствуетесь до новой Октябрьской, тогда поговорим.

Он был дитя тоталитаризма. Он был тоталитарнее, не скажу – чем Сталин, но чем все советские руководители, некоторые из которых его принимали. И не думайте, что он перед ними или перед Мао пресмыкался. Никогда! Этого не было в его характере. Гораздо страшнее было другое: он хотел быть, как они. Вы понимаете? Хотя опоздал лет на тридцать. Вот это чувство опоздания никогда его не покидало. Трагично, не правда ли?

Теперь переходим от единовластия как символа к тому, что я, пародируя терминологию современных теоретических физиков, назвал бы шармом, очарованием абсолютного государства, которое не прошло. Без этого шарма тоталитаризм существовать просто не может и не мог бы. Не без расстрелов и переселений народов, а без этого шарма, без этой фасцинации, которая индуцируется символикой единого, к которому ты причастен по времени, по истории. И отсюда предел символизации – это выведение, следующий шаг от единовластного вождя как символа к следующему

символу тоталитаризма. Он не только выше индивидуальности и личности (потому что уже есть одна личность), а он еще и трансисторичен, он вне истории. Я уже об этом говорил, мне не хочется повторяться. То есть история – как говорил один замечательный преподаватель университета в Техасе – история второго такого не выдумает. А это он выдумывает историю. Она либо завершается им – по одной политической концепции, либо с него начинается. Скажем, Октавиан Август был убежден, что история начинается с предыстории Юлиев и Клавдиев. Я думаю, что нынешняя концепция «постистории» – это один из последних рефлексов на тоталитарную идею трансисторизма.

Кстати, за это вранье – за постисторию – тоже неплохо платят во многих университетах. Всякая ложь и глупость на рынке расходятся отлично.

Это чистый символизм, потому что «превзойти» историю можно только путем ее ресимволизации. Надо создать, иначе говоря, другой символ. Скажем, одно чучело у нас уже в голове есть (это очень плохой русский перевод слова «симулякр»). Это чучело называется история. Но мы не можем этим удовлетвориться, мы – люди, которые живем уже, забыл, где – в постистории, кажется.

Эту трансисторичность вождя надо было как-то культурно философизировать, поэтому тут использовали Гегеля. Конечно, это никак не гегельянство, но, в принципе, Гегель бы сказал: «И так может случиться». И эту трансисторичность, без которой не могли жить ни Гегель, ни Фихте, никогда бы не понял такой великий философ, как Кант. Он бы сказал: «Давайте проанализируем, транс – что?». Ему бы сказали: «Трансисторичность». Он бы сказал: «А вы уже проанализировали историчность?». Для него понятие историчности было каким-то апостериорным синтетическим чудовищем, а тут еще – трансисторичность. В последних двух московских работах по философии истории это слово повторяется, если вместе взять, 36 раз. То есть мы опять себя оглушаем.

Пожалуйста, не поймите меня так, что тоталитарное государство и его символика направлены на наше оглушение, что именно – будем уже говорить всем нам понятным языком марксизма – идеология стремится к тому, чтобы нас обезличить в тоталитарном государстве. Потому что концепция тоталитарного государства – простите меня, ради бога, за резкость – просматривается уже у Маркса

и абсолютно четко видна у Ленина в его идеально простой и четкой (абсолютно при этом невежественной – но это не важно) книге «Государство и революция». Там все четко, все понятно, книжечка есть, можно ее положить в карман и начинать это дело, революцию. Но ради бога, не думайте, что все это направлено на то, чтобы нас одурачить! Это мы сами себя одурачиваем и используем Ленина, как и Маркса, для самоодурачивания! Это наше внутреннее дьявольское. Знаете, мое определение дьявола: дьявол – это принуждение к немышлению, дьявол – это соблазн комфорта умственной инерции. Кстати, любая аскетика, христианская, буддистская или мусульманская, вполне бы со мной согласились, главное – в этом.

ЧАСТЬ 2

Тоталитаризм как детище идеи абсолютного государства в его как бы «пределной» версии собственно и явился причиной начала проблематизации самой идеи абсолютного государства и, более того, началом проблематизации идеи государства вообще. Это, конечно, среднему и вроде интеллигентному человеку и представить себе невозможно: где я живу, черт дери? В Танзании? В Уганде? Кошмар, а не государство, но все же государство. Но вот тут мы переходим к маленькому параграфу, который я условно назову «Парадокс и чудо тоталитарного государства». Ведь их было так мало. Ведь они почти разгромили, хуже всех атомных и ядерных водородных бомб, вместе взятых, мировую культуру. Но опять то, что я сейчас сказал, это, дамы и господа, риторика на грани демагогии, это мое чувство. Один интересный чисто исторический момент: говоря об отдельных политических и социальных элементах государства, мы все время находимся в методологическом тупике. Вот милейший юный джентльмен, присутствующий здесь, спрашивает: каково было отношение абсолютного государства и его предела, тоталитарного государства, скажем, к семье? Вы знаете, что интересно: это отношение прежде всего характеризовалось двойственностью, доходящей до полярности. Так же как и отношение к другому феномену – армии, скажем. Однако здесь-то и сказывается различие между абсолютистским и тоталитарным государствами – та же двойственность проявляется у них по-разному.

Как вы можете сравнить гитлеровскую «ночь длинных ножей», уютный такой погромчик, когда по всей Германии были убиты 860 лидеров, активистов и покровителей штурмовиков. Ну надоели ему штурмовики – попятно очень: сброд был, шпана (а он шпаной не был, дамы и господа!). И что произошло после убийства Сергея Мироновича Кирова в городе Ленинграде? Было уничтожено фактически около 90 тысяч человек. И вот ужасаются и умиляются люди, которые не понимают, что к 1928 году, который историки считают переломным, тоталитарное государство не только возникло, оно уже блистательно существовало. Потому что все последующее в отличие от того, что сделал Гитлер, можно было произвести только в уже готовых рамках тоталитарного государства. И коллективизация, и убийство Кирова, и «головокружение от успехов» – все это мелочи. Оно было уже готово.

Итак, к вопросу о семье. У одного моего друга было хобби – собирание материалов по 20-м годам, причем чисто народных. Он обожал школьные и заводские стенгазеты, объявления о собраниях в клубах. И, пожалуй, самое интересное – это о семье, начиная от брошюр под названием «Пол и семья», где доказывалось великолепно, что семья – это давно отжившая и себя пережившая форма половых отношений, и до собрания работниц завода, если я не ошибаюсь, «Шарикоподшипник», которые проголосовали подавляющим большинством голосов (и мой друг Андрей все это переписывал, у него было уникальное собрание таких документов), и резолюция была очень простая: «В великое будущее мы должны прийти без семьи и с многомужием (по-гречески – полиандрия), полностью заменившим единобрачие и единоженство». И еще я прочел такую замечательную брошюру – «Борьба за настоящего мужчину», написанную тремя дамами. Вы сейчас не можете себе представить, что делалось тогда, и не только в Москве!

Кто был одной из начинательниц этого? Прежде всего Инесса Арманд, которую Владимир Ильич очень любил. И он ей говорил: «Что же это вы, сударыня, так беспардонно перебарщиваете?» – это когда она с двумя сподвижницами втроем голыми вышли на Красную площадь. Ну все-таки старомоден, безнадежно старомоден был Владимир Ильич! Сталин это прекратил в четыре месяца. Но что здесь интересно: интересно то, что эти блистательные опыты – которые назывались футуристическими, некоторые их называли сюрреалистическими, хотя эстетика их идет напрямик от немецкого экспрессионизма – эти опыты были экспериментами политической рефлексии в той политической ситуации, в которой носители политической рефлексии – разные люди, мужчины и женщины – себя осознавали. И вдруг приказ: укреплять семью. И бедный несчастный интеллигент, но, конечно, идиот полный, который выпустил брошюру в Крыму «Размер мужского полового органа как решающий фактор морального прогресса», очень пожалел об этом. Кстати, никто из вас не помнит фамилию этого реформатора, хотя на него ссылались и Зощенко, и Эренбург, и многие другие, – Энчмен.

Тут есть очень простое объяснение: не будет семьи – не будет детей – не будет армии. Чушь! Потому что и дети, и армия тоже были частностями. Дело в том, что семья оказалась в серии тех социальных частностей, которые были материалом для

политической рефлексии и могли в нужный момент оказаться на витке развития (оно еще развивалось) тоталитарного государства, при этом они могли оказаться полезными или вредными. Вы можете меня спросить: все ли это равно, полезными или вредными? Нет. Разумеется – только вредными, потому что все полезное, отменив вредное, делал только один человек. Понимаете? Идеальная семья, отменяя наследие прошлого – промискуитет, проституцию и прочие безобразия, – отменялась так же, как идеальная буржуазная, дворянская и крестьянская семья. Важно то, что на любом витке мыслительный источник правильного был один. А вот неправильное каждый раз должно было отменяться. И это не парадокс и даже не феноменология. Это логика уже сформировавшегося – а оно сформировалось очень быстро – тоталитарного государства. Любое разрешение двойственного отношения тоталитарного государства к чему бы то ни было обуславливалось не какими-либо внешними условиями, а «логикой внутреннего развития» этого государства. Эта логика находила свое выражение в особой системе символов.

Тоталитарный символизм запрещал как вскрывать язвы общества, так и врачевать их: то есть один человек был и диагностом, и хирургом, и лечащим врачом. Это метафора замечательного поэта, который не был советским гражданином и был природным тоталитаристом, – Бертольда Брехта.

Перехожу к другому квазипарадоксу тоталитаризма. Один из рабочих целей тоталитаризма – это баланс, равновесие между интенсивностью и экстенсивностью государства. Это жутко интересный момент, потому что революционный импульс с самого начала был задан на экстенсивность – «революция по всем мире», «Коминтерн». Это же факты экстенсивности. Но уже с самого начала экстенсивность должна была как-то уравновешиваться интенсивностью, и наоборот. А что такое экстенсивность, если говорить на нормальном русском языке, а не на языке экспертов? Экстенсивность – это либо война, либо международная террористическая и диверсионная деятельность, либо сверхактивная пропаганда на весь мир. То есть при всей автономности верхушки русского тоталитарного государства оно по необходимости было с самого начала более всего экстенсивно ориентированным. Отсюда Коминтерн. Ничего подобного в гитлеровской Германии не было. Она и не была тоталитарным государством, она была типом абсолютистской диктатуры.

Обожая семью, Гитлер никогда бы не стал избивать экстремистов свободы пола. Нет, это не его дело было.

Что же касается войны, к ней мы перейдем на следующей лекции. Сейчас скажу совсем вкратце, что Гитлер перешел к войне очень рано; Сталин войну, это я знаю по документам, ненавидел. Гитлер войну любил (при том, что он ненавидел военных, как и Сталин, но это совершенно другой вопрос). А человек, который любит войну, не может олицетворять тоталитарное государство. Ни один последовательный тоталитарист не любит ни армии, ни войны. Использовать войну, пройти дальше и желательно всех победивших генералов куда-нибудь поскорее угнать. А все-таки они без войны не могли. И Сталин знал, что она необходима, знал, что она будет, но оттягивал ее каждый раз до последней возможности, чего Гитлер никогда не делал, потому что Гитлер не был тоталитаристом. Потому что при нарушении баланса экстенсивности и интенсивности тоталитарное государство оказывается в ситуации опасности и риска. И, между прочим, все серьезные просчеты Сталина и советского тоталитаризма случались именно тогда, когда он попадал между клавиш интенсивности и экстенсивности. Позвольте, я сделаю очень маленькое отвлечение.

Вы знаете, у марксизма как политической теории, пусть недоработанной, было несколько роковых недоработок (ну не может же один человек охватить все). Я когда-то был поражен, когда уже после университета серьезно прочел Маркса, чего почти никто почему-то не делает, в первую очередь марксисты. Маркс был блестящим политэкономом (хотя и слишком проникнутым гегелианой), но он не имел ни малейшего представления о социологии, здесь он был просто невежественен. Ленин, который уже к этому времени начинал серьезное изучение марксизма, был, судя по его письмам к Плеханову, в отчаянии: у Маркса ни слова о социологии. А мы же, простите, общество меняем – какое общество? Ведь бедный Маркс, когда он решил написать капитальный труд (а половина творчества, дамы и господа, – когда вы уже решили что-то сделать), тут же обокрал, как грабитель с большой дороги, человека, абсолютно безразличного к плагиату, – гениального Максима Ковалевского, который первый написал и опубликовал работу о первобытной общине. Но это был просто гениальный человек, бывают такие гении, вспыхивают, у него была феноменальная социологическая интуиция. К сожалению для России, всю

жизнь он писал только по-французски и публиковался, изредка переходя на английский. Вернулся он в Россию только в 1908 году. Так вот Маркс, по-видимому, переписал в свою книгу полстраницы из Ковалевского, не сославшись. Сидит Ковалевский у старого Маркса и говорит: «Послушайте, Карл, ну все-таки ведь неудобно как-то». А Маркс говорит: «Ну, такие мелочи, великие люди не считаются между собой». Хорошо, правда? И это документировано – один раз об этом в своем письме говорил Энгельс. Гораздо позже Владимир Ильич Ленин прочел Ковалевского (потому что, видимо, решил, что разберется), но боюсь, что ничего не понял.

И уже в книге «Государство и революция» у вас возникает впечатление: а где это все? Об обществе – какие-то косвенные отсылки, о социуме. Но Ленин – я говорю без улыбки – гениально понял, что Россия – это государство, и что революция будет в государстве, а не в обществе, и что революция произведет новый тип государства, а не общества, чего благонамеренные идиоты типа Мартова и даже Плеханова (это главный эрудит партии) понять не могли. Когда же речь шла о народе – это вспоминает один замечательный ленинский друг, – Ленин кривился: «Какой народ?». И вот о народах – последняя отсылка. Письмо Маркса, которое я, будучи студентом, хотел процитировать своему очень талантливому преподавателю на семинаре «Маркс как историк», но удержался, потому что мой друг – человек гораздо более умный, чем я (что нетрудно), – сказал: «Слушай, лучше не надо, ты ведь подведешь старика». Маркс о народах: «Дорогой друг! В конечном счете, евреи нынешней революции не нужны» – ошибся немножко – «в конечном счете они окажутся реакционной силой, которая всегда будет на стороне буржуазии. Евреям необходимо как можно скорее, немедленно» – кстати, «немедленно» – это не ленинский, это марксовский термин – «им надо как можно скорее ассимилировать ся». Грубо говоря, стать христианами, стать немцами. Стали – послушались не Маркса, а ситуации, что не уберегло их от газовых печей. Дальше замечательно: «Что же говорить о каких-то славянах. Люди органически, все эти чехи, сербы, русские, поляки!» – восклицательный знак; там много восклицательных знаков, он вообще во многом предвосхищал Ленина с восклицательными знаками – «они же не способны на сознательную политическую работу и безнадежно ленивы». То есть, если вы внимательно читаете, он говорит: есть один народ, универсально политически способный. Какой? Немцы. Это и есть

прямая дорога к парадоксам тоталитаризма. Ну как же, что ж, значит, неравноправие наций? А Маркс изумленно пожимает плечами: «Коллеги, я когда-нибудь говорил о равноправии наций? Не говорил». Конечно, не говорил. Так что же тогда такое равенство? И тут он уже в своей великолепной статье – это я серьезно говорю – «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (одна из лучших, единственная реальная его историческая работа) говорит: «Равенство и равноправие – это только одна из фаз, абсолютно временные и временные понятия». И в скобках: «Французы сильно проигрывали свои революции тем, что это акцентировали».

Для меня правда – это то, как вы думаете. Мне важна ваша политическая рефлексия, а не то, правда ли то, о чем вы рефлекслируете. Здесь уже я полагаюсь на вас.

И тут парадокс тоталитаризма не в том, что тоталитаризм врет. Забудьте вообще весь этот субъективистский бред! Все мы врем. Нет, дело в том, что тоталитаризм на каждом витке своего развития реализует какие-то символические возможности. Он как бы превращает символ в действительность сегодня, а завтра будет превращать действительность в символ. Это игра. Если вы меня спросите, спонтанная или отрефлексированная, я отвечу: «Когда тоталитаризм уже сложился, то всем казалось, от академика Юдина (это был предел идеологического идиотизма) до академика Александрова (это был предел идеологического жульничества), что все понимают всё». И это главный парадокс: на самом-то деле знает один. Или – никто не знает. Знает только один, а «смекают» или «соображают» (в 40-х годах появился этот замечательный термин) – все. Беда в том, что тоталитаризм, как мы говорили, сам себя корректирует. Но это не всегда возможно. Все-таки это же реальное общество и реальный мир; плохой, но реальный. И начинается серия ошибок, столь же по Гегелю необходимых и неизбежных, как серия достижений. И в особенности – вовремя не отрефлексированный дисбаланс между экстенсивностью и интенсивностью. Отношение к семье – это интенсивность. Пять или десять лет за якобы антисоветский анекдот – это интенсивность. А вот чтобы революция в Китае полностью победила до того, как американцы начнут серьезно укрепляться на Дальнем Востоке и в Японии, – это экстенсивность. Запрещение аборт – это интенсивность. А вот тайный договор, который, по-видимому, был, хоть и устный, о разделе сфер влияния с Мао, на

котором Иосиф Виссарионович прогорел полностью, – это экстенсивность. Разрыв с Тито («<Тито тоже цепной пес американского империализма>») – это не экстенсивность, потому что Сталин считал, что это здесь, у него происходит. И тут начинается то, что на вульгарном русском называется «накладки». По одной очень простой причине: тоталитаризм по исчерпанию первого революционного импульса вырос в России на преобладании интенсивности. Экстенсивность может появиться как какая-то внешняя, иногда фоновая задача, но, конечно, по своей эпистемологической сущности тоталитаризм, как крайний случай абсолютного государства, интенсивен.

Тоталитарное государство по своей онтологической основе самореферентно. Оно имеет дело все время с самим собой. В то время как для Гитлера существовала категория, которая на самом деле для Сталина никогда не существовала (ни в 19-м, когда он торчал в Царицыне, потом в Астрахани, мешая руководству армии и произведя первые чистки среди военных), – это народ. Вам кажется – это слово, это демагогия, а вы посмотрите эти два фильма, они сейчас доступны, Лени Рифеншталь, где вы видите Гитлера, общающегося с народом. Сталин же это ненавидел, ему приходилось то с ткачихами говорить, то с поварами, то с трактористами, но он это ненавидел, и откровенно писал и говорил об этом его личный секретарь Поскребышев.

Вы помните Маяковского: «И лысых рать Европой голыми башками будет управлять». Интуиция у этого поэта была замечательная – «лысых рать».

Все-таки давайте посмотрим, какой была центральная идея гитлеризма? «Один фюрер, одно государство». То есть он здесь был как бы тоталитаристом, но он им не был: «Одно государство и один народ». Конечно, без партии нельзя было сделать ни шагу, как и у Сталина. Но Сталин-то что сделал: он уничтожил партию, прекратил партократию полностью к середине 1937 года простейшим способом – убив партийцев. В этом смысле он был гением. Гитлеру бы это не пришло в голову – перевод вещей из общих в частные, и потому незначительные, занимал фюрера один день или одну минуту. Перевод вещей из частных в самые значительные и общие занимал у Сталина один день или одну минуту, хотя иногда надо было долго готовиться, до месяца. Для полного выяснения вопроса с самим собой. Главное – оба говорили только то, что сами хотели. Значит, субъективно говорили правду.

Я же не буду вас подозревать во вранье, как я и Гитлера не хочу подозревать во вранье, и Сталина! Раз он говорил, значит, была такая фаза в его политической рефлексии, и не мое дело говорить, кто «объективно» говорит правду, а кто врет, поскольку объективность этой рефлексии мне недоступна.

Конечная цель по Троцкому – перманентная революция, непрекращающаяся революция, до конца истории. Конечная цель Ленина – революция в России. Как Гитлер формулировал свою конечную цель, вы помните? Конечная цель – мировое господство одной расы, о котором он, сказать честно, не имел ни малейшего представления, что это такое. Такой лозунг не может быть тоталитарным.

ВОПРОС: А может быть, вы тогда дадите определение абсолютистского государства?

Абсолютного. Я уже дал определение: абсолютное государство – это государство, идея которого абсолютно доминирует в вашем политическом мышлении. Им может быть тоталитарное государство, им может быть государство либерального режима, важно его доминирование. Тоталитаризм предполагает такую форму абсолютного государства, которое, уже существуя, вырабатывает какие-то свои особые дополнительные условия существования, условия, вытекающие не из генезиса данного абсолютного государства, а из «только сейчас» измененной политической рефлексии. Это и делает тоталитаризм как бы «перерывом истории».

В тридцатых годах XX века часто задавался вопрос: почему Гитлер так ненавидел поляков? Оказалось, что главным аргументом Гитлера было: потому что они издевались над немцами. Откуда он это вытащил – не имеет ни малейшего значения. Его диктаторская абсолютистская форма правления отсекала от себя 90 процентов фактов жизни политической. При сталинизме это невозможно: только заприходовали Чехословакию, тут же был готов сценарий, когда бедный Ян Масарик покончит самоубийством. Правда, он очень странно покончил самоубийством: выбросился из окна своего замка со связанными руками и с пулей в затылке, что, как говорили все врачи, чрезвычайно трудно сделать. Но не важно! Вы понимаете, такие бы штуки Гитлеру не пришли в голову! В этом смысле тоталитарное государство, оно

par excellence политическое. В то время как абсолютное государство может в конечном счете быть чем угодно.

ВОПРОС: В чем ваша цель различения тоталитарного и абсолютного государства?

Здесь, безусловно, имеется одна цель. А именно: показать тоталитарное государство как радикальную трансформацию идеи абсолютного государства. Все-таки это идея, которая у нас в головах. Поэтому она, возможно, и осталась в головах до сегодняшнего дня. Ведь основная цель всякого тоталитаризма – это трансформация политической рефлексии. Она может обернуться мелкими флюктуациями, но в переходе к тоталитаризму речь идет о радикальной трансформации, которая почему-то – это я говорю исторически – либо должна произойти быстро, либо ее не будет вообще. Эта трансформация иногда подготавливается революцией. Но не всем абсолютным революциям удалось ее произвести. Скажем, это осталось мечтой для Максимилиана Робеспьера и Сен-Жюста. Я хочу вспомнить замечательный отрывок записанного разговора между Сен-Жюстом и зарезанным вскоре после этого разговора Жаном-Полем Маратом. Марат был врачом, ветеринаром – не надо унижать Марата, как это делают многие историки, – и он сказал: «Свободная парижанка будет зачинать, когда она хочет и от кого она хочет». Сен-Жюст на это сказал: «Дурак, но только когда мы захотим!». Это чисто тоталитарный ход политического мышления. Какого черта?! Уже голод, начинается интервенция, вандейцы истребляют гарнизоны, а о чем они в кабаке разговаривают? О том, как надо регулировать зачатие детей! Это есть типичный ход мышления, из которого вырастает тоталитарное государство. Оно – не парадокс – вырастает из нашего мышления, из нашей политической рефлексии, а не из политической рефлексии Антуана Сен-Жюста или Максимилиана Робеспьера. И вот тут нужна трансформация. Кто ее производит быстрее, кто медленнее, кто ошибается, кто терпит поражение. Я думаю, что чемпионами по скорости были бы якобинцы, но они, конечно, свалили дурака, затянули дело – и поэтому-то и случился Термидор. А тот же Освальд Шпенглер, человек замечательного ума, анализируя германскую революцию и ругая последними словами немцев за то, что они не смогли сделать такую чудесную,

веселую революцию в три часа, как русские в Петрограде (старику легко было получать удовольствие от чужой революции), говорил: «Ведь все должно быть уже готово к началу действия, чтобы оно получило желаемый результат».

И тут важный момент: установление тоталитарного режима, сам феномен тоталитаризма возможен только тогда, когда в мышлении доминирует абсолют государства, как в нашем (когда мы смотрим дрянное телевидение и говорим, что «это все государство делает» – при чем тут государство? Это просто вульгарное телевидение). Тоталитаризм есть радикальная трансформация политической рефлексии, но только рефлексии, уже сориентированной на абсолют государства. Поэтому в рефлексии, где нет идеи абсолютного государства, тоталитаризм не может случиться. Тоталитаризм – это историческое явление. А абсолютное государство, без которого мы вообще ничего не можем ругать или хвалить, – это идея исторически на самом деле очень поздняя. Более того, если оставить в стороне милые моему сердцу римские параллели, то по-настоящему абсолют государства доминирует в европейской политической рефлексии с конца XVI или с середины XVII века.

ВОПРОС: А в мышлении Маркса и Ленина государство доминировало?

В мышлении Маркса оно не могло не доминировать, он вырос из молодых гегельянцев, где вообще без слова «государство» вы не могли сделать и трех шагов.

РЕПЛИКА: Но Ленин говорил, что государство – это аппарат, некий механизм.

Он говорил не только это. Когда вы читаете записи его позднейших бесед и после покушения и так далее, читаете записи разговоров со Свердловым (это был человек предельно уродливого мышления и абсолютный тоталитарист) или даже читаете позднего Плеханова (до того, как он был проклят и запрещен), вы увидите, что Ленин был убежденным тоталитаристом. Да, в 10-х он еще не мог дать дескрипцию этой идеи, наоборот, он от нее уходил, но идея была. А «Апрельские тезисы»? Интереснейший документ, из которого с предельной ясностью следует, что – только «немедленный захват государственной власти и немедленный переход к конкретным формам государственного строительства». Это уже не абсолютное

государство было, а идея государства переходного периода. Между периодом, когда государство существует и когда оно отомрет – государство переходного периода может быть только тоталитарным. Ленин это очень хорошо понимал. Но гораздо лучше его понимал – потому что был попроще Ленина и, между прочим, часто с ним говорил на эту тему – Алексей Максимович Пешков, Максим Горький, который был убежденнейшим тоталитаристом. Эта замечательная фраза: «Я еще в начале войны ощущал, что только одна государственная власть, единая и твердая, сможет убить (убить!) невежество и инерцию русского человека». Правда, вместе с самим русским человеком, но это другое дело. Вы знаете, Ленин целиком разделял эту точку зрения: помните, это переходное; перейдем – тогда все будет в порядке, и уборные будем из золота делать. И ведь это бред, но как факт мышления не был никаким бредом, это была истина. Вы знаете, главная фраза Маркса о себе: «Я творю суть истории и воздаю каждому должное». Ленин никогда такой фразы сказать, не смог бы, не говоря уже о Сталине. Но Ленин, если перевести наш разговор на гегелевский жаргон, и сотворил суть истории. Почему? Потому что все было готово, была готова эта радикальная трансформация политической рефлексии.

Поскольку тоталитарное государство держится на символической манифестации, то мифология необходима для интерпретации этой манифестации. Отсюда феноменальная лозунговость, пронизавшая все революционное искусство, и абсолютная мифологичность ее интерпретации.

АБСОЛЮТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ АБСОЛЮТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ СМЕНЫ ФАЗ В МИРОВОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

*27 февраля 2006 года,
Александр Хаус,
конференц-зал «Европа»*

ПЛАН ЛЕКЦИИ

(0) Абсолютная революция и категория политического действия. Обесмысливание понятия абсолютной революции в условиях, когда всякое действие является политическим.

(1) Релятивизация политического действия как главный фактор проблематизации абсолютной революции.

(2) Сецессия как понятие, замещающее понятие революции в условиях преобладания иллюзии глобализма в политической рефлексии.

(3) Революция как парадокс совмещения крайности и паллиатива в одном и том же политическом действии.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Цели абсолютной революции: разрушение правового государства; создание тоталитарного государства – проблема времени для революции – условия революции: негативная установка в отношении власти; гражданская война – примеры революции и абсолютной революции, их различия – субъект и объект абсолютной революции – о народе – незавершенность, отсутствие стратегии и максимализм абсолютной революции – 11 абсолютных революций.

Вопросы.

Дамы и господа, тема сегодняшней лекции – это абсолютная революция. По моей вине – я заговорился на другие темы – придется пропустить одну тему, которую я очень люблю, – войну.

Начинаю с двух-трех напоминаний теоретического характера. Первое – все термины и понятия – это понятия не эмпирических феноменов политики, а вашего собственного мышления о политике. Когда я говорю «абсолютная революция» – это именно та революция, которая живет в нашем мышлении и которую мы примериваем на любую другую революцию. Второе – абсолютная революция со всем ее окружающим – дикий страх перед революцией, дикое желание революции, обаяние революции, отвращение к революции – все это является одновременно и понятием, имеющим свое собственное понятийное содержание, содержание нашего, вашего политического мышления, и одновременно состоянием этого политического мышления. Поэтому еще очень важный момент: когда я употребляю слово «объективный», оно употребляется в чисто инструментальном смысле. Это не объективный в смысле элементарного эпистемологического противопоставления объективности и субъективности, где объективность рассматривается как беспристрастие, чистая наблюдательность, а субъективность – как то, что подвержено модальностям и модификациям вашей психики, эмоциям, желаниям, нежеланиям. Здесь объективный – значит видящийся с точки зрения политической философии, для которой политическое мышление есть объект. И никаких других значений слова «объективный», к которым мы привыкли в нашем естественном языке, здесь нет. Когда мы говорим: «Ну знаешь, я объективно этот вопрос рассматриваю» – обычно мы врем при этом, потому что никто (как мы знаем) объективно ничего рассматривать не может, если нет четко выделенной точки зрения, находящейся на уровне ином, нежели рассматриваемый объект. В нашем случае объектом является политическое мышление или политическая рефлексия.

Говоря об абсолютной революции, мы имеем в виду не просто какие-то изменения в политическом мышлении, сколь бы они ни были радикальны (а без них вообще никакая революция, ни абсолютная, ни не абсолютная, невозможна). Мы, говоря об абсолютной революции, имеем в виду такую трансформацию политического мышления, в результате которой само это мышление, сама эта

рефлексия изменяет свою качественность, свои онтологические основания. Изменяет до такой степени, что себя уже не узнает в своем измененном состоянии. Но самое интересное – это то, что таким образом измененная политическая, назовем ее условно «революционной», оказывается не в состоянии рефлексировать и над будущим ходом и порядком рефлексии.

Неинтересную вещь вообще обсуждать не стоит, даже если она чрезвычайно важна, обсуждать надо только интересное. А интересное? Это то, что *мне* интересно. То есть то, что стимулирует мое мышление к следующему шагу или даже изменяет его направление.

Итак, закончив напоминаниями, начнем лекцию с вещей более или менее второстепенных. Я вообще люблю начинать обсуждать любую интересную вещь со второстепенных вещей. Так вот, взглянув на реально существовавшие и, не дай бог, на существующие в данный момент революции, мы можем объективно – то есть опять-таки с точки зрения политической философии, рассматривающей мыслительные, рефлексивные аналоги этих революций, – отметить одну черту того, что мы называем абсолютной революцией. Оказывается, что во всех имевших место документированных абсолютных революциях первой объективной целью абсолютной революции было разрушение правового государства. Почему опять о государстве? Да потому, что государство – это естественное пространство революции. Итак, всякая абсолютная революция разрушала правовое государство. Но что здесь интересно: попробуйте, дамы и господа (то есть, ради бога, не пробуйте, надоело уже этим заниматься человечеству!), но попробуйте разрушить в революции, если вы очень революционно настроены, правовое государство – и вы увидите, что незаметно для вас вы разрушите и вообще государство, в котором эта революции происходит. И замечательно, что именно так и произошло в одной из последних революций новейшего времени – в революции, произведенной красными кхмерами в Камбодже. (Вы можете спросить: какое там правовое государство? Раньше, при полулиберальном королевском режиме, оно было правовым тоже через пень-колоду, но все-таки суды, например, существовали, и удивительным образом трамваи ходили взад-вперед, и какие-то полисмены худо-бедно регулировали движение – неважно, я говорю в качестве примера.) Так что же там случилось, дамы и господа? Красные

кхмеры, на ходу разрушив правовое государство, оказались в пространстве политической пустоты и тем самым из революционной армии в полтора года превратились в банду типичных махновцев, с которыми вьетнамцам, да и появившейся внутренней кхмерской оппозиции, расправиться уже не составляло никакого труда. То есть, уничтожив естественное пространство революции – государство, они обрекли этим себя на поражение. Как, впрочем, и руководители эфиопской революции. Но это нормально, дамы и господа, но опять же заметьте, это нормально для абсолютной революции, но не обязательно.

Замечу при этом, хотя это тоже уже давно стало тривиальным, что как во главе банды красных кхмеров, так и во главе ультралевой верхушки эфиопской революции были кто? Члены интеллектуальной, а иногда и аристократической элиты. Тут интересно вот что: феноменологический переход от революции к абсолютной революции. Поэтому вернемся: первая объективная цель абсолютной революции – это разрушение правового государства. Второй целью абсолютной революции (я сейчас говорю только об абсолютной революции, бывают чудные революции, просто загляденье одно – но не абсолютные), второй целью является обычно чрезвычайно быстрое, на ходу (не забывайте, что революция – это творческий акт) создание в пространстве государства тоталитарного государства. Опять-таки это далеко не всегда.

В этом смысле замечательно то, что именно в тоталитарном государстве во всей полноте реализуется идеал абсолютного государства. Или, скажем так, гегелевско-марксо-кожевский идеал господства общего над частным. Только я говорю – в идеале, потому что при ближайшем рассмотрении обычно оказывается, что это не получается. Интересно, что содержание этой черты абсолютной революции великолепно резюмируется в первом куплете гимна «Интернационал»: мы старый мир раз рушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был никем, тот станет всем. Пожалуйста, не упускайте из вашей памяти этой гениальной фразы. Если заменить слово «мир» (старый мир разрушим) словом «государство», то мы найдем прямое предвосхищение главного эффекта абсолютной революции. Потому что старый мир – это государство, которое будет разрушено абсолютной революцией, а новый мир – это тоталитарное государство, которое станет всем, а все

станут – ничем. Заметьте, это очень забавно. Вспомните слова одного из предтеч, первоидеологов французской революции, аббата Сийеса: «Что такое третье сословие? На самом деле – все. Чем оно у нас является? Ничем. Кем оно хочет быть? Чем-нибудь». Так вот, старый аббат Сийес говорил о нормальной, с его точки зрения, революции, а не о той, которая чуть-чуть не привела его на гильотину, то есть абсолютной революции, каковой и оказалась против всех ожиданий французская революция 1789 года.

В то время, когда революция становилась абсолютной, никто уже не говорил, все кричали; точнее, половина кричала, а половина шепталась, а просто уже не говорил никто, ведь оттого она и абсолютная, что отменяет нормальный разговор.

В новом поле политики – в тоталитарном государстве – все становится ничем по сравнению с тоталитаристской формой постреволюционного государства. А еще интересней другое. Ведь все-таки между революцией, сколь бы абсолютной она ни была, и созданием тоталитарного государства есть щель времени. Иногда это два дня, иногда это два года. А, понимаете, за два года многое может случиться – и мор, и глад, и войны внутренние (гражданские) и внешние. Вообще, заметьте, дамы и господа, время – это камень преткновения каждой исторически зафиксированной абсолютной революции, в просто революции это не так катастрофично. Но у французов это показано очень четко. Во французской революции (которая в марксизме именуется Великой французской революцией, в более пуристских учебниках – Буржуазной французской революцией) они – затянули. То есть реальные абсолютные революционеры, с тремя лидерами, очень разными людьми, которые вам всем известны (Робеспьер, Дантон и Марат), не смогли консолидироваться для решающего перехода к абсолютной революции. А когда этот переход осуществился в якобинской диктатуре, то уже началась интервенция, уже началась фактически война, и одновременно началось частично реальное, частично иллюзорное сопротивление. Хотя на самом деле сопротивление было реальным только в Нормандии, в Вандее. И эта затяжка прекрасно иллюстрируется диалогом Сантера и Сеи-Жюста. Сантер, возглавлявший Комитет общественного спасения, кричал: «Дайте мне сто тысяч новых ружей, – плохо было у них с оружием в это время, – и я уничтожу всех врагов революции на полях сражений». Более практичный и соответственно возглавлявший

Комитет общественной безопасности, а не спасения (вообще безопасность – всегда практичнее спасения) Сен-Жюст говорил: «Дайте мне сто дней, и я физически уничтожу всех врагов революции в Париже». Это был чрезвычайно эффективный джентльмен. Но все равно и Сен-Жюст опоздал, и Сантер опоздал.

Как говорил наилучший знаток и анализатор французской революции Владимир Ильич Ленин (лучшего не было): «Дураки, затянули!». Ленин понимал, что времени мало, а будет еще меньше. Он заранее отрефлексировал еще не случившуюся русскую революцию как абсолютную, она еще не была абсолютной, но уже была им придумана как абсолютная. Заметьте, дамы и господа, не хочу здесь выступать в качестве субъективного идеалиста крайнего фихтеанского или берклианского толка, но все ж таки – не придумав абсолютной революции в своей голове, вы никогда не переведете революцию вообще в абсолютную. И буквально на второй день после революции – кстати, заметьте, второго такого случая в истории не было, тут я целиком за исключительность России – Ленин стал создавать органы революционной власти, которые тут же стали перерастать в органы еще немыслимого, нового тоталитарного государства. Но поймите, что он сделал это в голове! Его никто не понимал. Молодой Сталин пожимал плечами, явно не соглашаясь. Троцкий орал, он как наследник (глуповатый, правда – с придурью) Великой французской революции говорил: «Революция – навсегда!» – то есть завтра, послезавтра. А Ленин говорил: «Нет, послезавтра будет поздно».

Знаете, когда первый псевдоорган революционной власти стал функционировать (а первым псевдоорганом у нас фактически был Петросовет – несмотря на лозунг «Вся власть Советам», работал реально Петросовет)? Когда на следующий день вечером в Петросовете был выписан первый официальный ордер на арест – вы можете себе представить? Да еще Зимний от кошмара, который там учинили матросики с «Авроры», не расчистили, а уже был выписан ордер на арест. Кого бы вы думали? Низложенного императора? Нет, этого еще долго надо было ждать. Главных потенциальных контрреволюционеров, генералов, жандармов? Нет. А вы знаете, на кого был первый ордер на арест у новой власти и как этот человек был горд этим ордером? Это был человек, на которого после Февральской революции Временное правительство выписало ордер на арест, которого арестовывали до

Февральской революции – у него была привычка к арестам. Вы знаете, о ком я говорю? Это был Бурцев, гениальный журналист-разоблачитель, которого ненавидела любая власть – революционная, контрреволюционная, причем в любой стране. Это человек, который умудрился быть арестованным в Швейцарии за нарушение суверенитета Женевского кантона. Вы знаете вообще, что Бурцев сделал? Это же он раскрыл дело Азефа. Это он первый представил документальное свидетельство о получении большевиками денег по двум каналам, один из которых был из германского Генштаба, а другой – от трех крупных германских банковских домов. Его же хотели убить все: и левые, и правые, и монархисты, и социалисты – все его ненавидели. И это был единственный русский человек (я считаю, Россия Бурцевым должна гордиться), который попал в великобританскую тюрьму на три недели за диффамацию. Он был маньяком разоблачений. Таких и сегодня ненавидит любая власть.

А вы знаете, что он сотворил в Швейцарии? Он подал в швейцарский суд на два издательства и на кантон Женева за публикацию и разрешение публикации «Протоколов сионских мудрецов» и требовал немедленного полицейского опечатывания всех экземпляров. И вы знаете – он выиграл дело. Вы можете себе представить? А почему, собственно? Есть издатель, он хочет опубликовать «Протоколы сионских мудрецов» – свобода есть свобода, я бы сказал так. У сионских мудрецов тоже была свобода, а издатель вот публикует. И несмотря на это, он выиграл дело. По ходу его арестовали, побили где-то пару раз, но это само собой, он неоднократно бывал бит – и в России, и в других странах. И вот он говорил за четыре дня до революции и про Петросовет, и про Ленина, и он был частично прав: «Эта шайка германофилов погубит Россию». А ведь они действительно были германофилами. Пожалуй, единственный вождь революции, который был германофобом, был Троцкий. Практически все остальные старые большевики были в той или иной степени германофилами.

Ленин придумал замечательное выражение, он вообще был великим мастером придумывать ходкие выражения, иногда даже на грани гениальности, правда, редко переходя эту грань: «Внутренняя логика революции». На самом деле внутренняя

логика революции есть логика превращения революции в абсолютную революцию, Лениным разработанная идеально.

На ходу, чтобы сделать несколько более теоретически понятным то, что я говорил до сих пор, и то, о чем я буду говорить, и чтобы отличить просто революцию от революции абсолютной, давайте договоримся: революция вообще – это такое изменение в последовательности состояний политической рефлексии, в течение которого эта рефлексия остается для себя той же самой, а ее субъект тем же самым. Тогда как абсолютная революция предполагает изменение в последовательности этих состояний, после которого политическая рефлексия уже не способна вернуться к своему исходному состоянию. Оно меняет не объекты рефлексии, а саму политическую рефлексия, оно ее настолько трансформирует, что та уже не может себя отождествить с тем, что было до абсолютной революции. Иначе говоря, возникает совершенно новое качественное состояние.

Вообще, дамы и господа, применяйте термин «революция» осторожно. Сейчас этот термин безнадежно вульгаризирован: это и неолитическая революция, это и барочная революция в музыке, это и революция нравов – это все чушь. Почему? Потому что мы имеем дело с несоизмеримо разными временными длительностями: неолитическая революция, как я понимаю, заняла около 20 тысяч лет, барочная революция – около 20 лет, поэтому полагать их обеих революциями исторически неинтересно, а социологически бессмысленно. Время революции мы можем понять, во-первых, как время от ее условного начала до ее условного (часто отодвигающегося в бесконечность – по Троцкому и Бернштейну) конца, и как другое время – время распределения по фазам осмысления революции в политической рефлексии.

Тут нам надо остановиться и перейти к условиям революции вообще, на время забыв об абсолютной революции. Здесь без истории и древней истории не обойтись. Любая революция – абсолютная и просто революция – обязательно предполагает негативную установку в отношении данной современной формы государственной власти, политической власти. Но если так, то никакая революция невозможна без первого условия – без самой идеи государственной политической власти, или вам не с чем будет бороться в революции. Она должна быть не только существующей, но и достаточно сильной. То есть в преддверии любой революции, которая сама является

негативным рефлексом на политическую власть, политическая власть должна быть сначала отрефлексирована позитивно, то есть признана как действующая в данном государстве. Только тогда становится возможным разговор о действительности (по Гегелю) этой власти, и это очень существенный элемент любой революционной ситуации. Негативная установка нам часто кажется, если хотите, модернистской. А еще не исчезнувшая, пока не сломленная позитивная установка – консервативной. Давайте пройдемся по нескольким революциям.

Юлий Цезарь, когда ему было 16 лет, был внесен Суллой в проскрипции и должен был быть зарезан, но поскольку семьи Корнелиев и Юлиев были связаны родством, родичи отмолили юношу Цезаря, и было решено его пока не убивать, слишком уж знатный был род. Отношение к «прежнему порядку» идеально выясняется в римской истории I века до нашей эры. Что случилось в период, когда жил отец первого революционера Юлия Цезаря? Вы помните диктатуру Суллы? Была страшная борьба с Марием, жуткие, жестокие, страшные преследования и убийства в Риме. Но Сулла был абсолютным консерватором и убежденнейшим республиканцем. Больше всего на свете он боялся монархии и империи. Он лелеял мечту (он был садистом кровавым, страшным человеком, но и у страшного человека может быть мечта): сделать Рим таким, чтобы уничтожение республики стало невозможным. Кто является правящим классом в республике? Аристократия, конечно, – патриции, всадники, военная верхушка. А кто является правящим классом в империи, если взять класс в целом? Сулла это знал и чувствовал, и говорил: «Всякая шваль». Поэтому больше всего Сулла боялся уничтожения последнего основания республиканского Рима, того, что стоит между властью и народом, – сената. А сенат уже начинал находиться под угрозой. Но Древний Рим республиканский был немислим без сената, все-таки «*Senatus Populus que Romanus*» – «сенат и народ римский», где сенат стоял до народа.

Конечно, римлян отчаянно напугало восстание Спартака. Но с самого начала стало ясно – и даже Крассу, который это восстание подавил, – что эти люди не стремятся к захвату политической власти. Они стремились освободиться, создать армию, разграбить Рим и скорее куда-то смотаться, кто во Фракию, кто в Иллирию. Потому что, заметьте, – и вот это уже должен знать всякий, – что рабство,

рабовладение и власть рабовладельца над рабом ни в Афинах, ни в Риме никогда не рассматривалась как власть политическая. Это была власть абсолютно личная, никак не связанная с политической рефлексией. Замечательно, что Сулла и Цицерон заранее отрефлексируют гражданскую войну как конец «старого порядка» (в терминологии французской революции).

Сулла был первым, кто задолго до Алексея Максимовича Пешкова сказал (а молодой Цицерон это повторял): «Враг есть враг, и является живым существом, подлежащим немедленному уничтожению». Это Сулла придумал – убежденный традиционалист, республиканец, ненавидевший монархию.

Теперь второй элемент революционной ситуации – гражданская война. Возьмите революцию – не абсолютную – тихую, корректную, мягкую цезаревскую революцию в Риме. Здесь гражданская война (которая, конечно, очень помогла Цезарям и которая в России последовала почти немедленно за революцией) сыграла огромную роль в революции не абсолютной (я буду каждый раз как попугай повторять – та абсолютная, эта – нет). И она, между прочим, имела очень жесткие последствия. Консерватор-традиционалист, убежденный республиканец и гениальный полководец Гней Помпей, прозванный Помпеем Великим, проиграл гражданскую войну Цезарю и был успешно зарезан Марком Антонием. Который потом тоже был зарезан на следующем этапе революции, завершенной приемным сыном Цезаря Октавианом Августом – все было в полном порядке.

Не забывайте, революция не обязательно кровавая, она может быть такой, что вы вообще ее не заметите. Более того, она может быть такой, что и ее творцы не заметят, что они сделали революцию. Она будет революцией только объективно, то есть с точки зрения политической философии, объектом которой является политическое мышление.

Я вам уже говорил, как на меня набросился на одном сборище Тэд Хондрик, а старик в 17 лет убежал из дому добровольцем в Испанию воевать с Франко, так что был серьезный человек: «Что же это за горбачевская революция, это же карикатура!». На что я ему ответил, что с точки зрения моей политической философии, в Горбачеве мы имеем дело с нормальной революцией, которую просмотрела русская интеллигенция, но она традиционно отличается умственной пассивностью, иногда

переходящей в самоудовлетворенное слабоумие. Но ведь, уверяю вас, что при Горбачеве была настоящая революция, хотя и не абсолютная ни в малейшей степени. И, дай бог ему здоровья, бескровная. На что Тэд Хондрик, левак 30-х годов, сказал: «Ну как вам не стыдно!». Ему было бы невозможно объяснить, что стыдно в данной ситуации «нам с Горбачевым» могло быть только в том случае, если бы мы ее отрефлексировали как такую, за которую мы несем ответственность.

Я вообще не хочу быть ответственным ни за что на свете, я безответственный человек по натуре, и поздно меняться.

Быстро переключимся на германскую революцию 19-го года, на которую немедленно откликается известный вам всем Освальд Шпенглер: «Немцы, такой позор, разве это революция, стыдно читать! Немцы, великая нация, такую жалкую, куцую, трусливую революцию произвели! Вы посмотрите на русских – в одну ночь все сделали». Это он имел в виду Октябрьскую революцию. Наиболее продвинутые московские интеллектуалы, которые не заметили, что горбачевская революция была серьезная, настоящая революция, до сих пор называют Октябрьскую революцию 25 октября военным переворотом. Идиоты! Это была великолепно продуманная революция. Другое дело, что она опередила мышление самих революционеров. Как вы знаете, для Ленина это было такой неожиданностью, что все удалось. Кто бы мог предполагать! Он был ошеломлен и говорил, правда, полному мерзавцу и авантюристу Стеклову: «Слушайте, а что же мы теперь делать-то будем?». Но революция была, и за нее Ленина похвалил не кто-нибудь, а Освальд Шпенглер: настоящую революцию человек сделал.

Раз мы уже пошли по истории (а не пойдя по истории, мы ничего не поймем), попробуем рассмотреть в смысле революции приход Гитлера к власти. Был ли он абсолютной революцией? Да и был ли он революцией вообще? В нашем понимании самого феномена прихода Гитлера к власти важны следующие моменты. Первое: прекрасно – в меру своих умственных способностей – отрефлексиовавший идею абсолютной революции, Гитлер с самого начала сознательно ее не хотел. И в любой ситуации, как до 1933 года, так и после, стремился не только избежать абсолютной революции (да все уже было сделано!), но и любых тенденций к превращению задним

числом революции в абсолютную и к превращению Германии в тоталитарное государство.

Говоря строго терминологически, государство Сталина было совершенным тоталитарным государством. А гитлеровская Германия тоталитарным государством не была. Тоталитарным в терминологическом смысле, а не в интеллигентских разговорах и в писаниях бездарных историков. Замечательный британский историк Хью Тревор-Ропер говорил (а он в это время еще молодым человеком мотался из Москвы в Берлин и обратно – можно еще было): «Да разве можно их сравнивать?». Вы удивитесь, какие он употреблял прилагательные: «Гитлер же – это типичный восточный монарх-самодур». Мы не готовы к этому, не правда ли? «Типичный восточный ошалевший от успехов царь-самодур. А Сталин – это человек абсолютной системы».

Что значит «абсолютной системы»? Я вам говорил на прошлой лекции, что тоталитаризм ни к чему не безразличен – все, что есть в государстве, находится в сфере этого государства. Гитлер ненавидел ни во что лезть вообще. Он всегда говорил: «Какой контроль, у меня нет сил и денег вас контролировать, вы получаете вашу зарплату министра, командующего армией, банкира, главы концерна – пожалуйста, это ваше дело». Возможно ли это для Сталина? Нет. Сталин был маньяком контроля. От кремлевского периметра до последнего поселка на Дальнем Востоке – все было нанизано на вертикальную ось контроля. Это тоталитаризм.

Разрушив германское правовое государство, то есть Веймарскую республику, Гитлер, по существу, сохранил целиком все структуры государственного управления и сам стал рейхсканцлером. Но самое главное не это. Исторически очевидно, что немецкая политическая рефлексия, весь строй политического мышления гитлеровской Германии после ее военного разгрома восстановился буквально в течение трех-четырех лет. Ибо Гитлером не было совершено такой радикальной трансформации политической рефлексии, которая бы не могла в новой ситуации узнать себя такой, какой она была в старой. То есть не было абсолютной революции. И, конечно, сам феномен «аденауэровского чуда» – человек за шесть лет сделал такое, что иная страна, даже самая великая в мире, не смогла бы сделать за 30, – почему он был возможен? Потому что очень многое сохранилось, ему не надо было

делать даже капитального ремонта политического самосознания, потому что все разрушения были разрушениями от бомбардировок.

Гитлеризм не произвел той тотальной деполитизации, полной политической нейтрализации населения, которую блестяще произвел Сталин, а после Сталина – Мао Цзэдун. Нет, Гитлер был прежде всего вождем народа, он говорил: «Мои немцы». Он же был в каком-то смысле, простите меня, социалист-народник: «Я и мои немцы». Говорил ли когда-нибудь Сталин: «Я и мои русские?» Это немыслимо, это другой язык.

РЕПЛИКА: Он говорил «братья и сестры».

О да, когда допекло, в июне 1941-го, Сталин мог еще и не то сказать, но этого не было в его идеологии. В гробу он хотел видеть всех братьев и сестер, не говоря уже о дедушках и бабушках. Гитлер был в этом отношении чрезвычайно осторожен. И отсюда – я вам уже говорил – у него не могло быть советского лозунга «Народ и партия едины». А какой был лозунг? «Народ и государство едины». Это ведь очень важно! Вообще слова безумно важны. Потому что, не произнося каких-то слов, вы не сможете многое делать. И вы сами знаете ваше собственное политическое мышление только из вашей же речи.

И еще один очень важный момент, может быть, на сегодняшней лекции важнейший. Пусть установлено, что в одном случае тоталитарная, в другом случае не тоталитарная власть; что в одном случае абсолютная (1917 года), в другом случае не абсолютная революция (в Германии). Но неизбежен вопрос: кто является субъектом абсолютной революции? Или, возвращаясь к тому, что было сказано об условиях революции вообще: что такое субъект абсолютной революции? Говоря о политической власти, мы говорили о том, что, строго говоря, субъект во всех случаях является субъектом определенного типа политической рефлексии. С точки зрения политической философии, оказывается, что субъект абсолютной революции является – вспомните операциональное и феноменологическое определение политической власти – субъектом политического действия. А мы уже знаем, что политическое действие – это действие, направленное субъектом на объект этого действия.

Каков же объект политического действия субъекта абсолютной революции?

Разумеется, на ум приходит ответ: объект – прежняя политическая власть, ее разрушение. Вздор! Так абсолютная революция не делается. Естественным объектом субъекта абсолютной революции, естественным объектом его политического действия является не власть, не государство, а народ, без которого невозможно сделать ни одного шага даже в самой верхушечной революции. То есть в каком-то смысле любая абсолютная революция борется с народом, революционизируя его, с его согласия или без его согласия. И только когда это революционное действие завершается на этом объекте – народе, населении, – возможно радикальное изменение государства и политической власти.

Как мы об этом уже говорили, народ является объектом крайне неопределенным. Попробуйте определить народ. Возможно ли феноменологическое или просто операциональное определение народа? Каждый из нас знает, народ – это центральный термин всех политических демагогии и фальсификаций. Народ – обычно страдающий, не устает он этого делать. Народ – торжествующий (тоже не устает). Народ – ненавидящий (то же самое). А ведь понятие народа – если не говорить о чисто этнических, этнографических и лингвистических признаках – абсолютно неопределенно. Замечательно определение народа, данное гитлеровским идеологом Хаусхофером: «Немецкий народ – это люди, которые думают, говорят и действуют по-немецки». Как это вам? Ну чушь собачья, разумеется. Кстати, тот же Хью Тревор-Ропер говорил, что ни один советский руководитель под Сталиным никогда бы не мог сказать той чуши, которую говорили немецкие идеологи под Гитлером. Почему? Но они же были в каком-то смысле самостоятельными людьми. Гитлер мог им сказать, как он два раза говорил Хаусхоферу (он его уважал, потому что Хаусхофер был очень образованным человеком): «Вы знаете, доктор, – у него была докторская степень, как у Геббельса и как у многих из нас; вы знаете, что это стоит, – вы, по-моему, с вашим определением народа проваливаетесь в какую-то мистику». На что Хаусхофер отвечал: «Mein Fueerer! Ich bin ein Mistiker!» («Я мистик!»). Представляете, если бы Молотов это сказал Сталину? И где бы он оказался? Вторым секретарем Подольского райкома партии в самом лучшем случае. Более того, на самом деле Гитлер так и думал, как Хаусхофер, что понятие народа в

своей основе мистично. То есть Гитлер идеально подтверждает мой тезис, что объект революционного действия *par excellence* по определению, по преимуществу – неопределенный.

Теперь дальше. Политическое действие субъекта абсолютной революции должно быть предельно, абсолютно актуализировано. Оно всегда направлено на настоящее. Поэтому в своей революционной деятельности Ленин был абсолютным прагматиком данного момента. Абсолютность абсолютной революции характеризуется еще и абсолютным актуализированием каждого шага революции. Революционное действие, с одной стороны, феноменологически замыкается на непрерывно варьирующей неопределенной сущности, именуемой народом, нацией, расой, всем земным шаром, империей. Но, с другой стороны, оно исходит из идеи об абсолютно определенном субъекте.

Ленин употреблял Маркса, вклеивая в свои работы целые страницы: «При коммунизме унитазаы будем делать из золота». Но почему – Ленин?

Кто субъект абсолютной революции? Субъект – это очень важно, это почти мифология – обязательно поименован. Это Марат, Робеспьер и Дантон, это Ленин, Мартов, Троцкий, Свердлов. Какое счастье, что они были смертны и умирали, когда их убивали или от чахотки, как Свердлов. Я когда-то делая списки из газет и плакатов, меня интересовало число этих субъектов. Число субъектов Великой французской революции варьировалось где-то между четырьмя и шестью, но очень быстро редуцировалось. Субъект определен, один ли это субъект или их шесть. Но интересна тенденция численной определенности субъекта к еще большей определенности. Нет другого политического феномена со столь сильной тенденцией к редукции субъекта к одному человеку, как в абсолютной революции. И посмотрите, если такой редукции еще не случилось, то проходит какое-то очень короткое время, и она начинает работать. Ведь во время якобинской диктатуры сначала все таки был минимум «коллегиальности»: Робеспьер, Дантон, Марат. Потом, слава богу, когда Робеспьер разделался с жирондистами, они убили Марата, главного его соратника (о чем, конечно, и мечтать не мог Робеспьер, ненавидевший и презиравший Марата). А уж потом удалось убрать Дантона как тайного консерватора и английского агента. Он был гильотинирован. С кем оставалось разделяться? Всё, Дантон был убит, Марат

тоже, с жирондистами разделались, осталось разделаться (я с удовольствием употребляю советскую партийную терминологию) с леваками, они мешали якобинской диктатуре. Ведь леваки в каком-то смысле осознавались робеспьеристами как маргиналы, буквально в вульгарном употреблении сегодняшнего дня. Робеспьер проводит экстренные процессы Эбера, Камилла Демулена, бедного парня, и гильотинирует всех леваков. Всё в порядке – он единоличный диктатор. В России, ну «отсталая страна», больше времени на это понадобилось, но не забывайте, в России была и затянувшаяся Гражданская война, и НЭП, и вообще черт в ступе.

Другой пример – поначалу еще не абсолютная революция, а нормальная, которую произвел Гай Юлий Цезарь. Он ведь с самого начала искренне (клянусь, я читал; очень много об этом не наши историки, а римские писали) ратовал за коллегиальность в управлении и был в триумvirате. Но потом стали случаться неприятности. Потом краткая гражданская война, приходится убить Помпея. На полтора года – а больше и не надо – Цезарь стал диктатором Рима. А потом его убили Брут и Кассий, заметьте, его же аристократические родичи (если не говорить о гипотезе, что Брут был его незаконным сыном). За что они его убили? Они были принципиальными консерваторами-республиканцами. Вот они его убили идейно. Так же идейно, как эсерка Каплан стреляла в Ленина (эсеры ведь тоже – «консерваторы» революции), Октавиан Август разделался со всем окружением Цезаря, наведя Марка Антония на Брута и Кассия. Один наткнулся на свой собственный меч, другому отрезали голову, выкололи глаза, и бог знает что. В итоге великий завершитель римской революции Октавиан Август остается один. Фактически, конечно, со своей женой, которая играла огромную роль, страшную, в управлении страной, то есть Римом. И все: идет развитие империи и страшные полвека, фактически 37-й год, растянувшийся на 45 лет. Жуткое было время.

Еще одна черта абсолютной революции – любой, где бы она ни случилась, – абсолютная революция должна оставаться принципиально незавершенной. Это ведь безумно интересно. Конечная цель абсолютной революции, где бы она ни случилась, непонятна: то ли счастье всего человечества, то ли власть во всем мире, то ли новый рай, то ли снискание Духа Святого. Но это момент, который предельно ясен как в германской, жалкой, конечно, идеологии гитлеровского прихода к власти, так и в

гораздо менее жалкой ленинской предреволюционной идеологии. Что являлось конечной целью русской революции 1917 года, вы можете сейчас вспомнить? Революция во всем мире, которая потом была запрещена Сталиным и превратилась почти в господство во всем мире. Но это детали. Интересно сейчас только одно: принципиально цель любой абсолютной революции не может быть четко сформулирована – по самому определению абсолютной революции. Пол Пот когда-то выпустил замечательную брошюру, где он писал: «Отныне красный кхмер будет подниматься с земли на небо и господствовать над землей и небом». Безумно точно, да? Правда, мои коллеги мне возражали, в том числе один почитатель Пол Пота, которого потом там же случайно застрелили во время его научной командировки, что Пол Пот валял дурака. Не верю, не валял он дурака.

Помните, я вам говорил, что в документах любой абсолютной революции – Октябрьской, полпотовской, эфиопской, северокорейской – один и тот же очень забавный феномен: отсутствие стратегии. Мы живем сегодняшним днем, надо сейчас все сделать. Например, коллективизация планировалась – ведь сейчас в это практически невозможно поверить – со дня на день, а иногда с часа на час. Что остается? Тактика. И явное превалирование революционной тактики над стратегией. Вообще многие революции были лишены стратегии. Это впервые очень остро отрефлексировал – я не боюсь, говоря об этом человеке, сказать, что у него голова работала очень неплохо, – Владимир Ильич Ленин, когда наступил крайне неприятный и холодный 1918 год и революция оказалась в опасности. На самом-то деле что оказалось в опасности? Молодое, только что вылупившееся из яйца и еще не оформившееся тоталитарное государство в его еще первой, личиночной форме Советов. И в начале 1918-го Ленин запаниковал. Вы знаете, что было в Петрограде? Вы знаете, какую тюрьму Петросовет сделал главной тюрьмой? Петропавловскую крепость, переселив туда часть народа из классических «Крестов». И вы можете себе представить, паника была такой, что сбежала охрана! Матросики сбежали и красногвардейцы, потому что они боялись, что сейчас грянет Юденич и их всех убьют в одну секунду. Ну перетрусил ребята. Но ведь и сам Владимир Ильич испугался безумно, он решил, что это конец молодого государства – заметьте, он не сказал «конец революции». Революция была уже сделана, она уже была позади. Не

«военный переворот» продвинутых московских интеллектуалов, а настоящая, уникальная в истории, вторая после французской абсолютная революция. Кто вам скажет, что это был военный переворот, возьмите близлежащий тяжелый предмет и по башке его: молчи, мол, дурак. Теперь стала несущной проблемой стратегия. Точнее, ее отсутствие, которое снова и снова наблюдается в наиболее важных политических ситуациях начала XXI века. Неотрефлексированная стратегия – это не стратегия.

Но все-таки перейдем к самой серьезной, целевой черте абсолютной революции. Революция как направленная по определению и по преимуществу не столько на уничтожение государства, сколько на народ, который должен это сделать, а потом оказаться в пространстве нового, уже тоталитарного государства, революция объективно преследовала важнейшую и безумно трудновыполнимую цель. Об этой цели написаны тома. И это не только докторские и кандидатские диссертации. Это письма большевиков, письма первых деятелей советской власти, письма десятков, сотен людей, которые оказались причастны к власти. Заметьте, за одним исключением – один человек таких писем не писал. Кто? Сталин. Основной внутренней целью революции была не отмена прежнего государственного строя, а радикальная трансформация мышления людей. Я же вам говорил, объект – самое главное для революции. Народ, а не царская семья, не Зимний дворец и вся эта мифология. Народ. Главной и основной целью была отмена – заметьте, дамы и господа! – не трансформация, а отмена всего прежнего образа жизни. Образ жизни – это образ жизни народа. Один человек, который идиотски желал революции и восторженно ее приветствовал (вы помните этого человека? – Блок), в известной статье в отчаянии писал: «Мы переживаем самую страшную потерю – образа жизни, реального быта». Запаниковал старик. Сначала приветствовал революцию, а потом увидел, что что-то не так. Запаниковал и Алексей Максимович. Но пришел в себя и в 1932 году написал замечательное письмо, я процитирую начало: «Наш самый страшный враг – не капиталистическое окружение, не остатки белогвардейцев, не шпионы и диверсанты. Наш самый страшный враг – образ жизни этих людей, который должен быть выкорчеван до основания. А если они не захотят, то они будут полностью исключены» – он буквально так подчеркнул – «полностью исключены из

нашей новой жизни». Надо вам сказать, есть такие строки у великого гуманиста, на которые бы Геббельс никогда не решился! И он не был циником, он в том, что говорил, был убежден. Правда, года через два он изменил свою точку зрения, решив, что со шпионами и диверсантами тоже надо бороться путем тотального уничтожения. Но главное – это растоптать быт, который он ненавидел. То есть его ненависть, я хочу взять в кавычки, «к простому реальному русскому человеку, к Ваньке» (он так и говорил – «Ванька») не знала равных. Да Сулла по сравнению с ним был великим гуманистом. То есть это замечательный и очень типичный для русской абсолютной революции рефлекс – полный негативизм и нигилизм по отношению к русскому быту сначала, а потом к любому быту, к любому образу жизни. Не правда ли, это очень интересно? И не есть ли это «негативный предел» политической рефлексии?

Абсолютных революций в истории было не так мало – для людей тех стран, где они происходили, их было более чем достаточно. Их было, скажем, одиннадцать. Все остальные были революциями не на пределе политических рефлексий.

Можно подумать, что эта борьба с образом жизни и с его носителем, объектом – народом, населением, была единственной стороной революций, в отношении которой появлялись стратегические моменты.

И, наконец, последняя черта абсолютной революции. Ее демонстративный – не только не скрываемый, а подчеркиваемый – максимализм. То есть «все или ничего». В этом смысле Гитлер пытался ввести этот принцип только в вопросе о евреях. Гитлер, скажем, говорил, что надо уничтожить всех евреев, в скобках – цыган тоже обязательно. Ну, в конце концов, это максимализм в известных рамках. Но Горький говорил: «Все, кто будут цепляться за старое, будут устранены» – это пример революционного максимализма, от которого Горький стал постепенно вылечиваться только тогда, когда его уже собирались отравить (или это легенда – не настаиваю, не важно). Когда было, помните, «шахтинское дело», дело буржуазных специалистов? Читаем письмо Горького к тогдашнему «советскому Сен-Жюсту»: «Дорогой Генрих (Ягода. – Прим. ред.)» – это народному комиссару внутренних дел, который, по видимому, отравил своего предшественника Менжинского, – «я с негодованием прочел о решении Верховного суда по «шахтинскому делу». Только четверо

расстреляны – это же безобразие, расстрелять надо было всех». Можете себе представить: писатель-гуманист?

Но он не дожил до того времени, когда Ягода был пытан и расстрелян в свою очередь людьми Ежова. И уж, конечно, до того года, когда Ежов был страшно пытан и расстрелян людьми Лаврентия Павловича. Но надо сказать, все это уже к революции, даже к абсолютной, имело очень далекое отношение.

Вы знаете, до чего дошел этот максимализм? В одном письме Робеспьера к девушке, которую он всю жизнь платонически обожал (Робеспьер был врагом физической любви, убежденным причем; он был вполне здоровым человеком, но убежденным противником всего этого, согласитесь, дамы и господа, гадкого и противного), он ей писал: «Мой ангел, когда все это будет уничтожено и станет вчерашним днем, я с тобой навсегда соединюсь». Ведь это же замечательно, плакать хочется от восторга! Это был человек, который плавал в крови. Причем замечательно, что этот максимализм носит не мифологический, а абсолютно интеллектуально проработанный и иногда даже технически разработанный характер. Это не какой-то максимализм древнегреческого мифа, где Кронос пожирает своих детей и где одни небожители устраивают каннибалическую пирушку, пожирая других. Нет, это сознательный и очень четко отрефлексированный максимализм по формуле «или – или, если нет – то», «если так – то, если не так – это». И этот максимализм воспроизводится идеально – так же как и негативизм и нигилизм – в отношении любого быта, любого образа жизни, четко воспроизводится на каждом шагу всех одиннадцати случившихся в истории абсолютных революций.

Можно их назвать. При всех оговорках, первая абсолютная революция (я включу сюда и неудавшиеся – это очень важно, ряд из них не удался) – это, конечно, Октавиан Август. Эта революция шла до окончания клана и рода Юлиев – Клавдиев – Друзов и завершилась идеально – на Нероне. Это была первая революционная фаза и установление квазитоталитарных режимов. Они были настоящими по основным признакам, во всяком случае – по признаку всепроницаемости государственной системы. Второй случай – только одна фаза революции (не абсолютной) Оливера Кромвеля. Потом он стал крутить назад, но и эта фаза, вы знаете, в кратчайший срок привела к разгрому и могла закончиться уникальным в истории почти полным

уничтожением народа Ирландии (знаменитая экспедиция в Ирландию) . Но это частично – советую это не брать. Третья – Великая французская революция. Четвертая – Октябрьская революция. Я не буду говорить о провалившихся попытках. Гитлеровский приход не был абсолютным. Пятая, после большого промежутка, фактически она победила реально только в 1949-м – китайская революция Мао Цзэдуна. Шестая – северокорейская революция. Вьетнам не сделал абсолютной революции, оплошали вьетнамские коммунисты. Седьмая – «Красные кхмеры». Восьмая – Эфиопии. Девятая – попытка (попытка была неосторожной или таланта не хватило у аятоллы Хомейни) в Иране; все-таки ее стоит взять, два года он держал режим абсолютной революции, разрушив правовое государство, но не установив тоталитарное. Десятая – попытка на Кубе: Кастро сделал хорошую революцию, добрую революцию, но не смог ее перевести в абсолютную, она осталась на грани перехода в абсолютную. Но этого перехода не произошло, вы знаете, по какой причине – по внешней причине советско-американского конфликта при Хрущеве и Кеннеди в дни кубинского кризиса. Дальше.

РЕПЛИКА: В Сантьяго?

О нет! Игрушки! Между прочим, если бы с самого начала с помощью формировавшейся в Сантьяго-де-Чили кубинской гвардии Альенде получил неограниченную власть, они бы немедленно ее сделали. Но этот идиот провалил все славное революционное дело, поссорившись с профсоюзами, а в Чили нельзя с профсоюзами ссориться, у них очень большая власть. Нет. Пиночет – это жалкий абсолютист.

Дамы и господа! Завершая эту маленькую лекцию о революции, я хочу заметить, что абсолютная революция – это очень трудное для понимания понятие и категория политической философии, в которой она фигурирует как центр и фокус наблюдаемой политической рефлексии. Почему? Я думаю, что самым важным здесь является то, что как элемент политической рефлексии революция наблюдается в порядке трансформации последней. Ведь революция – это трансформативный процесс. Отметим крайне сложное отношение этого феномена ко времени (переходя от одной революции к другой и говоря об абсолютной революции, мы очень часто

переходим от одного времени к другому – то ли речь идет об одном годе, то ли речь идет об одном веке, то ли речь идет иногда об одном часе), его темпоральная зыбкость чрезвычайно трудна для нашего понимания, потому что нам надо пристроиться и подстроиться в нашем мышлении к темпу этого феномена и хоть сколько-нибудь редуцировать для нашего понимания его разнообразие. И, конечно, особенно трудно нам осознавать революцию сейчас, когда фактически политическая рефлексия является одновременно рефлексией над многими не имеющими никакого отношения к политике вещами. Я думаю, что Маркс не смог бы сейчас написать одну из самых лучших своих работ (кроме первого тома «Капитала», почти гениального) – «Введение к критике политической экономии». Ему пришлось бы где-то приспособиться к зыбкости и универсальности не в положительном смысле, а в чисто описательном, нашей политической рефлексии.

ВОПРОС: Почему вы ни разу не употребили термин «элита» и ни разу не сказали о революции как о смене элиты?

Я не счел нужным говорить об этом, потому что для меня смена элиты – это важный, но, говоря контекстуально о конкретных революциях, все ж таки никак не первый признак абсолютной революции. Не только смена элит, но и отмена данной элиты. Помните, я говорил: от отмены русского образа жизни к отмене образа жизни вообще. Также и в Риме мы видим, как сначала Тиберий стал очень прилежно и аккуратно вырезать римскую элиту, но очень скоро, при Нероне, это уже вполне завершилось в твердом намерении исключить из общества феномен элиты вообще.

ВОПРОС: На ваш взгляд, имеет ли смысл вводить понятие «народ», если он так неопределенен?

Нет, я не настаиваю. Знаете, очень забавно, что такой абсолютный тоталитарист, как покойный Мао Цзэдун, не любил этого термина, вспомним, что «Поднебесная» в классической китайской традиции – это страна, а не народ. Гитлер без него не мог прожить и дня. Сталин предпочел бы его вообще никогда не употреблять, но был вынужден.

ВОПРОС: Что более характерно для абсолютной революции – ставка на историческую истину или на субъективную добродетель?

Я думаю, что если говорить о древнеримских претоталитаристах, то, конечно, речь шла прежде всего об опоре на традицию. Если вы почитаете письма Робеспьера – более того, даже Ленина! – трудно поверить, но субъективная добродетель, пусть партийная, играла огромную роль. Ответ на этот вопрос будет зависеть от нашего движения в истории, от сегодняшнего дня к одной из одиннадцати абсолютных революций, которые я сегодня пересчитал, хотя, может быть, их десять, а может быть, окажется и двенадцать. Но это не так уж важно.

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, в вашей концепции, которую вы изложили, исторический материал какую играет роль? Потому что, в принципе, проинтерпретировать многие из примеров, которые вы приводили, можно по-другому. Можно ли перечислить в конце ту систему понятий, которые у вас связаны с революцией?

Вы знаете, я исхожу только из абсолютного примата двух понятий, имеющих значение для абсолютной революции. Это, естественно, политическая власть и государство, с которых я начал. Для меня описание ни одной революции невозможно без стартовой площадки, в которой четко установлена политическая власть. Притом (хорошо, что вы меня об этом спросили!), конечно, если брать историю, то, разумеется, нет никакого сомнения, что идея политической власти была основной идеей генезиса политики и политического мышления, и только потом – государства как пространства реализации политики. Когда гениальный этнограф и социолог Максим Ковалевский пытался дать схему описания первобытного общества, он все время подчеркивал: еще не государство, но уже политическая власть в ее элементарном феноменологическом понимании, которое я изложил – с чужих слов, разумеется.

ВОПРОС: Возможна ли, по-вашему, радикальная смена и отмена быта без политических составляющих? То есть смена быта надстраивается над политическими изменениями или наоборот?

Отвечаю. Абсолютно невозможно. А что касается того, что над чем надстраивается, я бы тут даже не стал заниматься временем – что сначала, а что потом. Я бы сказал так: в своей феноменологии смена быта и политический акт или серия актов, не обязательно революционных, в каком-то смысле синхронны. Я-то убежден, что любая смена образа жизни есть феномен политический *par excellence*.

ВОПРОС: И реформация тоже?

Если вы имеете в виду лютеровскую реформацию в Германии и ее прецеденты в Англии, Моравии и так далее, то нам придется возвратиться к очень исторически сложным вещам. Мы могли бы сказать очень робко, с оговорками, что реформация может рассматриваться синхронно с теми политическими напряжениями, которые ждали своего разрешения в пределах Европы и, конечно, прежде всего – империи (уже поздней – Священной Римской империи германской нации). Прежде всего, конечно, следует говорить о напряжении между уже явно отжившим способом политической рефлексии и только еще формирующимся и не нашедшим своего рефлексивного политического осознания новым этосом капитализма. Реформация – это вообще корневое событие всей европейской и мировой истории, вместе с теми изменениями, которые происходили в Германии с начала XVII века и обрели свою кристаллизацию в Тридцатилетней войне. Я думаю, что восприятие Тридцатилетней войны, выводы из Тридцатилетней войны сами были уже затянувшейся рефлексией на лютеровскую и кальвиновскую реформацию. В этих водах уже содержалась формулировка не только политической, но и культурной парадигмы эпохи Просвещения.

ВОПРОС: Идеи абсолютного государства и абсолютной революции – это идеи вчерашнего дня или сегодня тоже?

Это очень трудный вопрос. Эти идеи обречены, но они живут. Есть идеи, которые были обречены чуть ли не сто лет назад, а тем не менее живут и сегодня. Они живут в каких-то квазиидеологических проработках. Но они, в общем, умирают. Возьмем идею универсального или, простите за неприличное слово, глобального компромисса: «обо всем же можно договориться, господа». И при этом кто-то

диктует данной стране, Танзании, Ирландии: «Господа, если вы будете продолжать революцию и не договоритесь, то мы вам перестанем оказывать денежную помощь». Но ведь это все несерьезно, это все затянувшийся детский сад. Разумеется, и абсолютная революция, и абсолютное государство живут, они безумно живучи в нас, и когда-нибудь еще и то и другое может отомстить за поругание. Относитесь чрезвычайно осторожно к историческим интерпретациям. Ведь те продвинутые московские интеллектуалы, которые утверждают, что Октябрьская революция была военным переворотом, и которые прозевали реальную, хотя и не абсолютную, горбачевскую революцию, они ведь до сих пор не поняли, что фашизм и сталинизм, которые они, во-первых, не зная материала, отождествляют, а во-вторых, панически боятся – они историчны! Никогда не будет «нового» сталинизма, что вовсе не помешает абсолютной революции случиться и установить тоталитаризм. Он не будет ни фашистского, ни сталинистского образца, надо ждать появления новых форм и абсолютного государства, и тоталитарного государства, новых исторических форм. Но не надо торопиться в панике. Ведь большинство интеллектуалов изменяют формы и направление своей политической рефлексии, только когда они чего-то смертельно испугались, это нормально. В обычном же порядке они вообще не рефлектируют.

ВОПРОС: Петровский сюжет вы бы как-то соотнесли с революцией?

Это очень сложно. Я плохо знаю историю этого периода. Скорее я бы сказал, что он слишком входит в типологию тех сюжетов, совсем не революционных, которые имели место в истории других стран примерно в то же самое время. Тогда, вы знаете, мы должны и великого Людовика XIV назвать, старшего современника Петра. Я бы сказал более точно, но повторяю – я не историк. Я просто люблю историю, а это еще не означает, что я ее знаю. Я бы сказал, что главный эффект царствования Петра был на самом деле «послеэффект». Он был почти через четверть века проработан в мыслях современников следующего поколения, его трансформирующая сила была сильно преувеличена, по очень простой причине: потому что люди Петра, люди, которые были эпохой Петра (в конце концов, два поколения, меньше даже) были отделены от допетровской культуры. А когда вы

читаете старообрядческие хроники, у вас совершенно другая картина возникает, типичная картина позднефеодальной России. И, в общем, я думаю, что если вы спросите об этом не у меня, а у человека, который знал это божественно, – у Ключевского, тот бы сказал, что он в этом вопросе занимает компромиссную позицию; он ее и занял. Все это – не более чем еще один возможный опыт философствования об основных понятиях, употребляемых в нынешней политической рефлексии. Разумеется, декларированная в самом начале редукция политики к политической рефлексии является рискованной методологической гипотезой, но – посмотрим, ведь может и получится что-нибудь интересное в ходе проблематизации категорий и терминов нашего политического языка. И последнее, маленькая этическая сверхзадача. Сама попытка такого рода философствования, а вдруг она поможет в борьбе с самой отупляющей идеей современности, идеей комфорта, пусть минимального, но любой ценой, комфорта, выдаваемого за высшее благо, словом – с идеей абсолютного экзистенциального гедонизма. Эта идея (в любой ее форме, политической, экономической, этической, генетической, наконец) вновь и вновь возвращает наше мышление в тупик антропоцентризма.

Большое спасибо, дамы и господа, еще раз за ваше терпение, внимание и, я надеюсь, снисходительность.

**«АБСОЛЮТНАЯ ВОЙНА.
ЗАМЕЩАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ И АЛЬТЕРНАТИВЫ.
ТЕРРОРИЗМ»**

ПЛАН НЕПРОЧИТАННОЙ ЛЕКЦИИ

(0) Классическое и неклассическое понимание войны в современной политической рефлексии.

(1) Терроризм как неспецифически политическая альтернатива войне.

(2) Принципиальная возможность неполитических интерпретаций понятий войны и революции.

(3) Психологический фактор в возникновении и развитии терроризма. Роль религии и других неспецифически политических факторов в проблематизации понятий абсолютной войны и абсолютной революции.

Что такое политическая философия

Александр Пятигорский



Востоковед. Автор ряда работ по индийской философии, в числе которых «Тамильско-русский словарь», «Материалы по истории индийской философии».

Философ. В начале 1960-х по приглашению Юрия Лотмана читал лекции в Тартуском университете. Работал с Мерабом Мамардашвили – в

соавторстве ими написана книга «Символ и сознание».

С 1974 года живет и работает в Лондоне, где опубликованы книги «The Buddhist Philosophy of Thought», «Mythological Deliberations», «Who's Afraid of Freemasons?».

Писатель. Автор философского романа «Философия одного переуллка», «Вспомнишь странного человека...», сборника «Рассказы и сны», «Древний Человек в Городе».



ПОЛИТУЧЕБА

ISBN 978-5-9739-0125-7



9 785973 901257

интернет-магазин

OZON.RU



36933235